

роман сенчин

# АБСОЛЮТНОЕ СОЛО



Роман Сенчин

**Абсолютное соло (сборник)**

«Автор»

**Сенчин Р. В.**

Абсолютное соло (сборник) / Р. В. Сенчин — «Автор»,

ISBN 978-5-699-44369-7

Новая книга от фаворита крупнейших отечественных литературных премий 2009–2010 годов Романа Сенчина. Жесткий реалист по манере письма, Сенчин – неисправимый романтик в душе. Его герои оказываются порой в безвыходных ситуациях – как отважный скалолаз из повести «Абсолютное соло», погибающий в снегах Гималаев с надеждой быть услышанным хотя бы одной живой душой. И даже если спасения нет, личный подвиг неотменим: буря и натиск, известные еще со времен Шиллера и Байрона, живут в сердцах сенчинских героев. Испытания закаляют их, иногда лишая жизни, но ни разу они не изменяют себе. Подражать им – безумно, любить их – обрекать себя на страдание. Но не восхищаться ими невозможно.

ISBN 978-5-699-44369-7

© Сенчин Р. В.

© Автор

## Содержание

АБСОЛЮТНОЕ СОЛО	5
ГАВРИЛОВ	22
Конец ознакомительного фрагмента.	35

# Роман Сенчин

## Абсолютное соло

### АБСОЛЮТНОЕ СОЛО

#### *Повесть*

Шесть тысяч пятьсот метров над уровнем моря. Ледник Ронгбук. Мой штурмовой лагерь... Сразу при выходе из палатки глаза сами находят Вершину. Даже без бинокля в ясную погоду отлично видны ее уступы, карнизы, плечи, расселины. А если взять бинокль, она и вовсе оказывается рядом. Как это ни избито звучит, кажется – стоит вытянуть руку, и ухватишь с ее макушки горсть снега или камень на память... Но вот бинокль падает на грудь, и она отодвигается, но всё равно до странности, до боли в сжатых зубах близка. Два километра триста сорок восемь метров – расстояние, которое я пробегаю в долине за несколько минут, которое и здесь, на леднике, где воздух разрежен и неприемлем для жизни, могу преодолеть почти незаметно, там, чуть выше, с каждым метром растянется на много миль; там каждый шаг будет равен тысячам...

Привычно, как каждое утро, я смотрю на шкалу альтиметра, и не сразу понимаю, что вижу на ней. Лишь спустя какое-то время в голове горячим шаром лопается радость: давление поднялось, оно растёт почти на глазах. Кажется... я боюсь утверждать, но кажется, наступил долгожданный перерыв в муссоне!.. Снова перевожу взгляд на Вершину, щиплю, колю, толкаю глазами тот ее склон, где должен пройти маршрут моего восхождения. Воздух поразительно чист, небо уже сейчас, за полчаса до восхода, почти голубое. Вокруг Вершины ни облачка... Да, перерыв в муссоне. Наконец-то мне представился шанс.

Хочется броситься обратно в палатку, растолкать Нину, скорее собрать рюкзак, надеть кошки и побежать. Побежать вот туда, к Северной седловине, взобраться на нее, потом повернуть направо, к стене Чанг Ла, и дальше, выше, выше, по Северо-восточному гребню, через кулуар Нортон... И – вот он – крошечный пятачок. Вросший в снег геодезический штатив, установленный когда-то китайцами скорее не для дела, а как бесспорное доказательство того, что они там побывали...

Три года назад я уже стоял рядом с этим штативом, я познал радость пребывания на высшей точке Земли, я видел бесконечную горную страну на востоке и естественное закругление планеты на западе; пятнадцать минут я был выше всех... Мой партнер по связке кашлял, сидя на корточках, – он не был для меня конкурентом...

Но что заставляет меня идти туда снова, на этот раз в одиночку, без кислорода, без скальных крючьев, веревки, даже без рации? Такое восхождение журналисты явно иронически называют «в альпийском стиле». По их представлению, это значит – быстренько, с ледорубом, как с тросточкой, туда, затем, так же быстренько, – обратно... Альпинисты не любят рассказывать о трудностях, поэтому у людей создается впечатление, что подняться на гору – плевое дело.

Когда я объявил, что хочу совершить одиночное восхождение «в альпийском стиле» не на Монблан или Эльбрус, а на Вершину – на Вершину мира, тут же услышал поток насмешливых, издевательских откликов. Трезвые оценки специалистов тонули в этом потоке. Но за издевательством, за насмешкой ясно слышалось негодование и оскорбленность: как это так?! На Вершину, которую сотни лет считали неприступной, священной, покоряя которую погибли десятки и десятки людей, на которую идут группами, в связках, чтобы друг друга поддерживать, друг другу помогать, кто-то хочет забежать как-то небрежно, точно бы мимоходом, шутя.

Я понимаю и принимаю их оскорбленность и злобу. Для них восхождение должно быть военной операцией – с огромным, похожим на городок штабом, с медпунктом, батареей кислородных баллонов, с радиостанцией, чтоб оповещать мир о каждом шаге восходительских отрядов; нужно, чтобы караваны шерпов несли в промежуточные лагеря рюкзаки с килограммами груза, чтобы альпинисты рубили ступени, наводили веревочные переправы, искололи гору крючьями; кто-нибудь обязательно должен погибнуть или, по крайней мере, получить перелом, обжечь глаза, обморозиться. И в конце концов одна связка из пяти-семи – если повезет! – достигнет цели. Покорит. И мир возликует...

Я бросаю вызов этим операциям. Я уверен, что на Вершину можно подняться иначе... Двенадцатого июня меня привезли к леднику Ронгбук, на высоту пять тысяч шестьсот метров, где кончается тропа; всё необходимое уместилось в обычном джипе... Со мной никого, кроме Нины, малознакомой, почти случайной женщины, с которой я встретился уже здесь, в Гималаях, и по необходимости оформил членом экспедиции – ничего не смысля в медицине, она считается медицинским работником.

Конечно, не спору, она слегка сглаживает мое одиночество здесь, она помогает мне, готовя еду, наводя порядок, стирая в ручье белье, и все же теперь, спустя два месяца, я начинаю, в тайне от себя самого, жалеть, что я здесь не один. Что прожил не один эти два месяца... Кто знает, что открылось бы мне, не разговаривая я ни с кем, кроме своей души, не видя никого живого, кроме сурков и воронов... Монахи годами пребывали здесь в полном одиночестве, и многие так в него погружались, что в итоге отказывались навсегда не только от человеческого общества, но и от пищи, и исчезали. Никто не видел их мертвыми...

Но я не хочу исчезать, я очень хочу вернуться вниз, в мир людей, машин, компьютеров, небоскребов. И чтобы вернуться, мне нужно пройти два километра триста сорок восемь метров вверх. Сделать несколько фотоснимков у штатива китайцев и спуститься. И тогда я буду иметь перед собой право сесть в джип, а потом в самолет... Подъем и спуск, по моим расчетам, должен занять трое суток. Две ночевки. Две ночевки выше семи тысяч метров, где практически нет кислорода, куда ни разу не забралось ни одно живое существо, кроме человека...

Всячески себя успокаивая, давя невероятный зуд немедленно отправиться в путь, приваливаюсь к сложенной из плоских камней стене; ею с трех сторон мы с Ниной огородили нашу палатку, чтобы уберечься от постоянных и порой очень жестоких ветров. Взгляд мой приклеен к Вершине.

Вот показался край огромного горного солнца. Снег и лед вспыхнули, загорелись десятками цветовых оттенков, а камни наоборот – стали еще чернее, суровее; Вершина словно бы еще отодвинулась, отпрянула от меня. И я тут же почувствовал, что нетерпение, зудящее в груди, притихло. Вместе с солнцем возвращается трезвость.

Палатка заколыхалась – это проснувшись, стала выбираться из спального мешка Нина. Маленькая, худая девочка с веснушками на остром носу. При всем желании ей не дашь и двадцати, хотя недавно мы отметили с ней тридцать первый ее день рождения... Если бы я не видел, как она держалась на спуске с одного из самых опасных восьмитысячников, Тяньбоचे, когда ее мощные, матерые партнеры падали без сил, а она им помогала подняться, подбадривала, никогда не подумал бы, что она способна хотя бы выйти за город на своих двоих. Но она молодец – несколько нервных срывов за эти месяцы можно и не считать. Это на нашем фоне более чем скромный показатель.

Два месяца в тесной палатке среди снегов и камней, два месяца кислородного голодания, когда, бывает, для решения самой элементарной задачи требуется невероятное усилие; два месяца ожидания паузы в постоянных снегопадах и штормах. В таких условиях и самый психически устойчивый человек может запросто стать психопатом... Да, случалось, мы ссорились и целыми днями дулись, делая вид, что не замечаем друг друга, и в такие моменты Нина или бродила в одиночестве меж ледяных башен на ближайшей морене, или подолгу что-то писала

в своем дневнике. Наверняка – нелицеприятное обо мне. (Кстати, когда мы вернемся, нужно попросить ее дать что-нибудь пооткровеннее для моей книги об этой экспедиции.)

Сначала из палатки появляется ее голова. Черные жесткие волосы растрепаны, розовая заколка повисла на одной пряди, как завядший цветок. Не разогнувшись, Нина замерла у выхода, она долго и пристально глядит на Вершину. Впечатление, что беззвучно здороваются, беседует с ней после ночной разлуки. Или просит о чем-то. Молит... Мне становится не по себе, словно я подглядываю за таинственным ритуалом; я боюсь спугнуть Нину, помешать ей... Нет, все-таки я очень рад, что она со мной...

Постепенно, неделя за неделей, мы поднимались выше и выше, и вот живем здесь, в мире вечных снегов, в маленькой тесной палатке. Не больше двух раз в неделю спускаемся в базовый лагерь, где палатка просторнее, а местность куда живописнее: есть кое-какая зелень, журчит ручеек, втекая в озеро – в нем мы купаемся. И какой там воздух, на высоте пяти с половиной километров! После ночевки там мы становимся бодры и сообразительны, энергичны, словно побывали в лучшем санатории мира...

Завершив ритуал, Нина выпрямилась, сладко потянулась. Зевнула и огляделась. Заметила меня. И сразу на ее маленьком, исхудавшем лице появилась по-детски широкая улыбка. Обнажились два ряда слишком крупных, снежно-белых зубов. Но тут же улыбка стерлась – лицо стало серьезным и торжественным. Мне кажется, она догадалась. Тогда, наверно, и не стоит шевелить языком? Но глупый человеческий инстинкт превращать понятные окружающим мысли в членораздельные звуки побуждает, и я говорю:

– Сегодня занесу рюкзак под Северное седло.

Как-то слишком поспешно Нина дергает головой. Утвердительно, но и вроде испуганно. Мне хочется услышать ее голос, важные, сильные слова, но она просто кивает.

\* \* \*

Подняться на Вершину в одиночку, с легким рюкзаком за плечами... Когда расплывчатая, ни к чему не обязывающая мечта превратилась в затмившую все остальное цель? Я помню тот день, тот момент – короткую, яркую вспышку-секунду.

Честно говоря, как раз к тому времени я подумывал распрощаться с большим альпинизмом. Позади были восхождения на пять из четырнадцати восьмитысячников мира, и все – без применения кислородных приборов. К тому же на Нангапарбат я залез в одиночку, по новому, никем еще не пройденному пути.

Кроме того, я прошел сложнейшие стены в Западных и Восточных Альпах, взобрался на Иерулайо в Перуанских Андах по юго-восточному гребню, до того считавшемуся непроходимым. Были покорены высшие точки Африки и Северной Америки, было пересечение Тибетского нагорья с севера на юг в спринтерском темпе, за три с небольшим недели...

Да, к тридцати шести годам я был уверен, что в альпинизме сделал практически все. И сама Вершина уже находилась у меня под ногами... Правда, тогда я был не один – у штатива корчился в приступах кашля мой партнер по связке; его каким-то чудом мне удалось стащить тогда в штурмовой лагерь и передать страховочной группе...

Я написал несколько книг, ездил по миру с лекциями, издавал международный журнал, имел свою альпинистскую школу... Мне казалось, что я полностью счастлив; моя жизнь вошла хоть и в деятельную, но довольно безопасную, почти гладкую колею. Риск, рекорды, взрывы сенсаций остались в прошлом. И уже не каждое утро я совершал пробежки вокруг своего городка. Соседи начали говорить обо мне: «Остепенился».

Но однажды мое спокойствие разрушила новость: «Японский альпинист Наоми Уэмура получил разрешение на одиночное восхождение...» Да, он получил разрешение взойти на Вершину в одиночку. К тому же – зимой! И вот в тот момент, в тот совершенно обыкновенный

для человечества день моя расплывчатая, ни к чему не обязывающая мечта превратилась в затмившую всё остальное цель.

Я отшвырнул статью, над которой работал, и за пять минут составил план своего восхождения: подняться в одиночку, «в альпийском стиле», без кислородного аппарата, в муссонный период, по ранее никем не пройденному отрезку – через кулуар Нортонa... А через неделю я был в Пекине.

Мой план вызвал у руководства Китайского Союза альпинистов оторопь; уверен, не будь я столь известен, меня без раздумий бы выдворили из страны, как опасного сумасшедшего.

Очень осторожно они стали убеждать, что восхождение на Вершину в сезон осадков невозможно в принципе, что столь малый состав экспедиции (я сам и формально необходимый медицинский работник) нереален, когда дело касается такой суровой горы, и что, наконец, если со мной случится несчастье, это осложнит выдачу разрешений многим будущим экспедициям.

Я отмалчивался, давая возможность чиновникам, да и некоторым известным китайским альпинистам привести все доводы бредовости моего плана, а потом сказал:

– Должен признаться, что по своей природе я – трус. – Они замерли в новом изумлении. – Я никогда безрассудно не лезу вперед, я досконально просчитываю маршрут, время, свои физические возможности и лишь потом решаюсь действовать. Не один раз я отступал, когда становилось ясно, что рискую жизнью или жизнями моих товарищей. И если я приехал сюда, представил свой план, на первый взгляд безрассудный, утопический, то, значит, я сто-процентно уверен в себе. Напомню, что еще в двадцать четвертом году англичанин Нортон без кислородного аппарата, в скверную погоду дошел в одиночку до высоты восемь тысяч пятьсот семьдесят два метра и, поняв, что дальнейшие метры – последние двести семьдесят шесть метров! – ему не преодолеть, вернулся в лагерь. Я тешу себя надеждой, что смогу преодолеть эти метры. Маршрут мой в основном повторяет маршрут Нортонa, кроме этого последнего отрезка... Но если в процессе непосредственной подготовки, во время подъема я пойму, что подняться на Вершину в период дождей мне не по силам – я отступлю. По крайней мере я прошу дать мне возможность попробовать.

Участники переговоров долго молчали, передавая друг другу, перечитывая мою заявку снова и снова. Потом полушепотом посоветовались на своем языке, что меня слегка покорило, и сухо объявили: решение будет принято завтра.

В ту ночь, лежа на кровати в номере недорогого отеля, я чувствовал только одно – ревность и почти ненависть к Уэмуру. Я пытался отогнать это чувство, пробовал мечтать о том, что буду делать, если мне разрешат... Но ревность была сильнее воли – я казался себе человеком, у которого Уэмура уводит любимую, причем уводит открыто, безбоязненно, официально оформив увод... Да, он уводил у меня Вершину, и мои шансы оставить ее за собой были ничтожны, просто до смешного мизерны.

Уэмура подал заявку почти за год, я же – с бухты-барахты. Был самый конец марта и, если даже я получу добро, то уже через два месяца должен быть под Вершиной. Срок подготовки фантастически малый – экспедиции готовят годами, переговоры ведут на уровне посольств, а тут... Бородатый одиночка в джинсах и свитере...

Как рыба на берегу, задыхаясь, я ворочался на неразобранной постели и повторял, повторял, не в силах совладать с досадой и волнением: «Откажут... откажут...» А надо мной в темноте покачивался образ Уэмуры, его обмороженное лицо с узкими глазами, в которых горело нечто такое, что всегда горит в глазах альпиниста, когда он уверен, что поднимется, что именно ему повезет... Несколько раз я встречался с Уэмурой на различных конференциях, всегда выделял из остальных и, находясь рядом, ощущал какое-то беспокойство, почти робость. И вот теперь мои ощущения нашли объяснение – он всегда был моим соперником. Постепенно этот невысокий коренастый человек с обмороженным лицом и огнем в щелках глаз подбирался к Вершине. К моей Вершине!



На следующий день, ближе к полудню, я пришел в Союз альпинистов; я был измотан сильнее, чем после холодной ночевки на семи тысячах метров. (Уснуть удалось лишь после того, как я решил осуществить мечту любой ценой, пусть даже мне придется нелегально пересечь границу Китая или Непала...) Да, я был уверен в отказе, а взамен получил черновик договора. Опасаясь спорить, я согласился со всеми условиями. Главное было учтено – «продолжительность экспедиции: с 1 июня по 31 августа», «цель экспедиции: первое одиночное восхождение в муссонный период»... Союз альпинистов обязуется назначить мне в помощь офицера связи (он же переводчик) и джип с водителем. Их питание берет на себя китайская сторона, а бензин для джипа – за мой счет... Жаль, первоначально я планировал довести снаряжение и провизию до Чедсонга – последней деревни перед Вершиной – на нанятом автомобиле, а затем на нанятых же яках поднять груз до ледника Восточный Ронгбук. Я мечтал совершить восхождение как абсолютно частное лицо, но поневоле пришлось принять опеку государства, которое в данном случае скрывалось под личиной общественной организации...

Машинистка вывела на компьютере два окончательных текста договора, и мы с вице-президентом Союза их подписали, а затем оказались в банкетном зале. Китайцы подняли рюмочки со своей национальной водкой. Вице-президент многословно пожелал мне удачи и по традиции закончил спич словом: «Ганьбэй!» Это значит – «пей до дна»... Не любитель спиртного, на сей раз я выпил с удовольствием. «Половина дела сделана!» – что-то сладковато шепнуло внутри.

\* \* \*

Мои земляки – жители высокогорной долины. Они с рождения видят заснеженные хребты, острые пики скал, – казалось бы, быть уроженцем этих мест и альпинистом, одно и то же. Но, честное слово, нигде в мире я не встречал людей до такой степени ленивых и косных. Может, горы их придавили? Я готов согласиться. Впрочем, почему же я – другой? Почему другим был и мой брат? Почему мы еще мальчишками стремились взобраться на самую высокую гору и увидеть сверху тот мир, что лежит вокруг?.. Странно, но нас таких оказалось всего двое из тридцати с лишним тысяч, живущих в долине. Разве что мама читала нам на ночь не те книжки...

Когда я совершаю свою утреннюю пробежку вокруг городка, я вижу на лицах ненависть. Это лица моих соседей. Они сидят на скамеечках возле крепких, сотни лет назад выстроенных домов, они медленно-медленно курят и млеют от счастья. Для них счастье – сидеть вот так целыми днями, жмуриться, словно сытые, оскопленные коты. Но когда мимо пробегаю я, их лица меняются – я раздражаю их, я нарушаю спокойствие, разрушаю ощущение счастья.

Особенно ненавидят меня мои сверстники, те, с кем я учился в одной школе, кто знал меня маленьким мальчиком, играющим с ними в глупые и безопасные игры. Вот они, еще совсем нестарые – около сорока, – но уже рыхлые и брюхастые, с двойными и тройными подбородками, мутными глазами. Их движения медлительны, преисполнены показного достоинства; они уважают, лелеют свои круглые животы, всячески оберегают свою вялую жизнь. Их каждодневные путешествия – от дома до места работы и от места работы до кабачка. Горы вокруг для них не больше, чем стены. Стены еще одного, общего дома – нашей долины. И того, кто стремится заглянуть за них, они считают предателем, нарушителем священных границ. (Право слово, буддистские монахи куда прогрессивнее наших европейских обывателей!)

Да, им кажется предательством, что человек лезет на стены, возмутителен факт, что за это он получает деньги, а главное – славу... Впрочем, за возмущением и ненавистью я ясно вижу зависть. Их лица искажает и уродует зависть. Пусть и неосознанная ими самими...

Когда я совершаю пробежку, я чувствую ее каждой клеткой тела, каждой молекулой мозга, и она, эта их зависть, принявшая форму возмущения, ненависти, дает мне силы, нечеловечески громадные силы. Благодаря ей я могу достичь поистине великих результатов.

Наверное, поэтому я и живу среди завидующих мне людей. Бесперебойный допинг.

Здесь, в долине, у меня нет работы, приходится ездить за перевал, в столицу округа, где я выпускаю журнал, преподаю в альпинистской школе, имею друзей и соратников. А перед моим родным домом издевательски развешаны тибетские молельные флаги надписями вниз, навалена горка камней; как-то раз мою машину измазали грязью. Часто я получаю письма с бранью, угрозами. Иногда мне кричат вслед: «Ты еще не расшиб башку? Циркач!»

Порой я раздражаюсь, я готов прийти в ярость, но тут же разум останавливает меня: «Так надо. Все правильно». Да, наверное, именно так и надо...

Когда мир узнал о моем решении подняться в одиночку на высочайшую гору мира, от журналистов не стало отбоя. Они караулили меня возле редакции, десятками приезжали в городок, они фотографировали меня во время пробежки, окружили мой дом плотным кольцом и следили за окнами... Уж это как водится – дай маломальский повод, и пресса сойдет с ума и сведет с ума общество.

Да нет, конечно же, журналисты не обезумели – просто у них такая работа. Вчера какие-нибудь эстрадные звезды объявили о разводе, и каждая газета стремится узнать и обнародовать самые пикантные подробности, и желательно вытянуть эти подробности у самих героев; потом какой-нибудь министр подаст в отставку в знак несогласия с проектом закона, и все внимание мгновенно переключается на него. Теперь вот я со своим заявлением...

Я ненавижу диктофоны, микрофоны, блокноты, вообще – интервью. Хотя если ты чем-то выделяешься, если ты стал личностью общественно значимой, игнорировать общество по крайней мере непорядочно. И я трачу драгоценное время на то, чтобы отвечать на вопросы... Среди журналистов сегодня и корреспондент местной газетки – четырехстраничной пустышки, состоящей на две трети из объявлений, поздравлений и некрологов. Корреспондент – плотненький, розовощекий, неторопливый (что как-то не вяжется с его профессией) мужчина лет сорока. Даже застегнутая просторная куртка не может скрыть его круглое пивное пузо. Типичный обитатель нашей долины... И не особенно стараясь скрыть свое недоброжелательство, с ехидцей, он спрашивает:

– Вы по-прежнему уверены, что взберетесь на Вершину в одиночку? Без чьей либо помощи?

– Я хочу попытаться это сделать, – отвечаю осторожно, чтобы не давать лишнего повода называть себя самодовольным типом. – Но помощь так или иначе присутствует. Взять хотя бы технический прогресс – мое сегодняшнее снаряжение не сравнить с тем, что имелось, скажем, у экспедиции Мэллори в двадцать четвертом году или у Хиллари в пятьдесят третьем.

Тут же – новый вопрос:

– Планируете ли вы покорить все восьмитысячники мира?

– Я этого не планирую.

– Да?... – наигранное недоумение. – Вы только что упомянули о прогрессе, о снаряжении, – идет в атаку мой земляк-журналист. – Но вы всегда выступали против применения технических средств в альпинизме. Не чувствуете противоречия в своей позиции? – Он кривовато-победно улыбается, выставив вперед, в мою сторону, руку; пухлые, напоминающие колбаски пальцы сжимали диктофон.

Стараясь сохранять учтивость, я объясняю:

– Каждый альпинист в большей или меньшей степени применяет технические средства. Мои ботинки, палатка, ледоруб, газовая плитка – все это технические средства. Я охотно пользуюсь достижениями в области горной медицины, физиологии, диететики, тренируюсь в камерах с разреженным воздухом. Но я сторонник отказа от мощных технических средств, под которыми понимаю кислородный аппарат, шлямбурные крючья, вертолет. Короче говоря, я против того, что делает невозможное возможным. Я предпочитаю опираться на собственные силы.

Опережая других, розовощекий вскрикивает фальцетом, словно поймал меня на чем-то постыдном:

– Но ведь это честолюбие! – Не спрашивает, а утверждает.

– Да, может быть. Меня часто упрекают в честолюбии. Но дело в том, что я не считаю это качество пороком. – Терпение начинает меня покидать, и теперь я специально говорю как можно резче: – Я держусь за свое честолюбие – оно необходимо, оно толкает меня вперед из трясины повседневного существования. Многие великие свершения обязаны честолюбию...

Пока розовощекий переваривает мои слова, его коллега задает свой вопрос:

– Почему в последние годы вы предпочитаете совершать свои восхождения в одиночку?

Эта тема слишком тяжела для меня, поэтому я коротко, сухо произношу:

– Позвольте не раскрывать причин.

Слава богу, на сей раз они не настаивают. Но настроение испорчено окончательно, и вскоре, сославшись на дела, мне удастся отвязаться от журналистов. Если задаться целью отвечать на все их вопросы, это займет полжизни. У меня пока что есть более интересные и важные занятия.

...Я не всегда был одиночкой. Я ходил в связке, принимал участие в крупных экспедициях и не раз сам их организовывал. Но две трагедии, произошедшие практически одна за другой, заставили меня полагаться лишь на себя, рисковать лишь собой, нести ответственность лишь за себя.

В тот раз мы шли с Александром на Мансалу, на мой первый восьмитысячник. До цели оставалось около двухсот метров, когда Александр решил повернуть назад. Он совсем выбился из сил, его замучил кашель... Я предложил помочь ему спуститься, но он отказался. К тому же палатку нашего штурмового лагеря было хорошо видно. Я отпустил его, отдав рацию... Когда вернулся, Александра в палатке не было.

Двое суток на высоте семь с половиной километров я искал его. Он исчез. У меня кончилась провизия, газ в плитке. От кислородного голодания мутилось сознание, начинались галлюцинации. Пришлось спускаться в базовый лагерь... Когда я рассказал как было дело, то увидел в глазах людей осуждение. Невысказанное, прикрытое скорбью, и от этого еще более сильное. И, кажется, в те минуты я впервые всерьез задумался: стоит ли мне идти вверх с кем-то в паре, от кого-то зависеть?

Но следующей весной я принял участие в экспедиции на Нангапарбат, суровую и прекрасную гору в Северных Гималаях... Погода с первых же дней была отвратительной, мы (а нас было два десятка участников) неделями бездействовали, прячась от ураганного ветра в палатках. Начались конфликты. Руководитель экспедиции запрещал даже устанавливать промежуточные лагеря, он готов был запереть нас.

И когда стало ясно, что мы вполне можем уехать домой, так и не попытавшись взобраться, я взбунтовался. Я собрал необходимое и пошел вверх. Со мной отправился и мой брат. Мы надеялись в короткий промежуток между бурями успеть достичь вершины, и нам это удалось. Мы взошли в блицтемпе и, почти не отдохнув, стали спускаться. Мы опасались ветра, но нас поджидало другое – сошла лавина. Я уцелел, а брат... Веревку, которая соединяла нас, перерезало ледяным осколком... В лагерь я вернулся один.

Три года назад я в последний раз шел в связке. Мы шли на Вершину. Мы поднялись. Это могло стать счастливейшим моментом в моей жизни, но его омрачило состояние напарника – он задыхался. И все мои мысли были заняты не сознанием победы, а тем, как спустить его вниз... Наверное, во многом из-за того, чтобы по-настоящему насладиться минутами на Вершине, я и решил еще раз взойти на нее. Но теперь в одиночку.

\* \* \*

Уладив дела на родине, отправив контейнер в Пекин, я с середины мая стал кружить вокруг цели моей экспедиции. Непал, Китай, Индия, снова Непал, объединенные для меня одним словом – «Гималаи»... Я привыкал к своему присутствию рядом с Вершиной; я снимал в отелях лишь те номера, где окна выходили в сторону Вершины, даже в ресторане я садился там, откуда можно было видеть ее или хотя бы угадывать ее очертания... Я с нетерпением ждал июня, но меня всерьез начинало беспокоить отсутствие кандидатуры на должность медицинского работника. И в одном из ресторанчиков Тяньбоचा, поселка под южным склоном Вершины, я встретил Нину.

Мы познакомились лет семь назад; уже тогда, несмотря на молодость, она была достаточно заметной альпинисткой, правда, оставалась в тени мужчин. В основном ее включали в подстраховочные группы, но надо было видеть, как держалась она даже в самой сложной ситуации!..

Я обрадовался ей как старой доброй знакомой. Мы разговорились. Оказалось, она оставила альпинизм, но каждую весну приезжала в Непал, чтобы полюбоваться покоренными и непокоренными ею горами.

– Послезавтра возвращаюсь домой, – сообщила она. – Работаю в географическом журнале, пишу статьи обо всем. Но, конечно, больше всего – о Гималаях.

В ее голосе слышалась явная грусть. Судя по всему, она поставила на романтике крест, а ведь ей едва за тридцать. Самая большая для нее радость теперь – две недели отпуска провести вблизи великих гор... И неожиданно для себя самого я предложил Нине принять участие в моем проекте.

– А сколько участников? – спросила она.

– В общем-то, участник один, – с улыбкой сказал я и заметил на ее лице недоумение. – Это будет одиночное восхождение. Мое абсолютное соло. Но по условиям договора в лагере должен быть медицинский работник. Я гарантирую тебе питание и, в целом, те же условия, в каких буду жить сам.

Она согласилась. Не вскрикнула, не озарилась счастливой улыбкой, не бросилась мне на шею. Лишь по глазам я увидел, как она благодарна – это была благодарность безнадежно больного, которому вдруг вернули здоровье... Я отправил факс в Союз альпинистов с данными о Нине, мне тут же пришел положительный ответ. С того дня мы с ней не разлучались.

Двенадцатого июня на джипе, в сопровождении двух китайцев, прибыли к развалинам Ронгбукского монастыря. Еще полвека назад здесь жили четыреста лам, в пещерах и хижинах вокруг, погруженные в медитацию, пребывали десятки отшельников. Отсюда в двадцатые – пятидесятые годы начинались все восхождения. Потом почти на тридцать лет Тибет был закрыт для иностранцев, и экспедиции штурмовали Вершину со стороны Непала. Лишь недавно северо-восточное направление снова стало доступным. Мне хочется взойти именно отсюда, по классическому, но наиболее сложному маршруту. Осуществить мечту всех тех, кто не смог подняться...

Сначала мы хотели разбить наш базовый лагерь у родника, бьющего неподалеку от монастыря. Но когда осмотрели руины, нам захотелось только одного – скорее уйти отсюда. Выше, к снегу... Дело в том, что разрушенный монастырь стал мусорной свалкой для многих экспедиций. Горы кислородных баллонов, обрывки палаток, ящики из-под провизии... Отрыжка подвигов.

Метр за метром джип ползет по долине Ронгбук. Приходится то и дело останавливаться, чтобы убрать камни, заровнять промоины. За три часа мы едва преодолели полкилометра.

Дальше не проехать. Мой высотомер отмечает «5600». Здесь и будет находиться наш с Ниной лагерь.

Китайцы помогли выгрузить вещи, поставить палатку и, пожелав удачи, уехали. Офицер связи за время, проведенное на такой высоте, заметно скис, его два раза вырвало. Что ж, я рад, что они так быстро покинули нас. Сразу стало свободнее и словно бы светлее. Теперь джип появится здесь только тридцатого августа – у меня два с половиной месяца, чтобы осуществить задуманное.

Первый месяц мы жили в основном в базовом лагере, адаптировались. Я ежедневно совершал походы – то поднимался до шести тысяч пятисот метров, где выбрал подходящее место для штурмового лагеря, то спускался до развалин монастыря или в деревню Чедсонг, чтобы купить свежего ячьего мяса и творога. Иногда меня сопровождала Нина.

Постепенно слабость и головная боль прошли, и я почувствовал, что готов перебраться выше и там ожидать удобный для штурма момент. Но Нина приходила в себя куда медленней. Она часто была раздражительна, мрачна, капризна.

Примерно через три недели после приезда произошел такой случай. Я лежал в палатке и читал, Нина готовила обед, напевая песенку... За едой она сказала что-то, но я, занятый своими мыслями, не расслышал. Пообедав, я снова лег в спальный мешок. Через некоторое время подошла Нина и спросила:

– Ну так мне идти одной? – ее голос звенел от негодования.

– Куда? – я удивился.

– Я предложила тебе прогуляться, но ты не ответил. Я иду.

– Нет, подожди. – Мне тоже хотелось пройтись, но и книга увлекла так, что не оторваться. – Подожди, я дочитаю, и мы пойдем вместе.

– Сколько ждать? – жестко спросила она; я еще не видел ее такой.

Потакать ей было неприемлемо и губительно для дальнейшей жизни в одной палатке, и я ответил тоже довольно жестко:

– Двадцать минут.

Нина отошла, кажется, стала варить кофе... Я читал воспоминания Нортон об экспедиции двадцать четвертого года. «Хотя по прямой оставалось каких-нибудь 300 метров, идти нужно было еще не менее восьмисот. Я был так близко, что мог видеть отдельные камни небольшого осыпного бугра на самой верхушке. Я испытывал танталовы муки, так как ослабев от голода и борьбы, измученный ударами северо-восточного ветра, не в состоянии был подниматься дальше. Мне было ясно, что если я пройду еще хотя бы сто метров, то не вернусь назад живым».

– Двадцать минут давно истекли! – почти закричала Нина, ее губы прыгали.

Пришлось отложить книгу и выйти. Начинался дождь.

– Куда мы пойдем?! – я тоже с трудом себя сдерживал. – Дождь!

Я продолжил чтение; Нина ходила то перед входом, то возле окошка палатки, заслоняя мне свет. Наконец я не выдержал:

– О'кей, я иду. Но только своим темпом.

– Нет уж! Я хочу погулять, а не бегать!

Мы стали собираться, но оказалось, что Нина совсем не готова. Я ждал ее минуту, две... Она сменила свитер, тщательно застегнула куртку. Потом вдруг стала снимать ботинки.

– Я ухожу, – сказал я, не в силах больше наблюдать за ее дамской возней.

– Иди! Иди куда хочешь! – закричала она. – Я прождала тебя полтора часа, а ты не можешь потерпеть, пока я надену другие носки?!

Я усмехнулся:

– Зачем тебе другие носки?

– Эти слишком тонкие для ботинок.

– А нельзя было их сменить раньше? У тебя ведь, по твоим словам, было полтора часа.

Она не ответила. Медленно, явно желая меня взбесить окончательно, продолжала свой туалет... И я ушел.

Занятый мыслями, навеванными книгой Нортон (много раз уже прочитанной, но всегда растрavляющей душу), я поднялся к тому месту, где наметил поставить штурмовой лагерь, сел на валун и задумался, глядя на Вершину. Почти вся она в тот день была укрыта плотным туманом, виднелась лишь вершинная пирамида – черный скальный треугольник. Там уже нет ни туч, ни туманов. Там только ветер. А здесь погода была отвратительной – каждый день или снег, или дождь, почти непрерывно штормы и бури, то и дело слышался гул лавин, грохот обвалов. Ночи стояли теплые, и снег не покрывался коркой – стоило ступить на него, и нога свободно уходила вниз. Двигаться вверх в таких условиях было немыслимо...

Честно говоря, я не ожидал такого, готов был отчаяться, но все же рассчитывал на перерыв в муссоне. Всегда выдаются три-четыре дня, когда восхождение реально. Главное – не пропустить их, поймать. Теплые ясные дни и морозные ночи. Тогда по надежному фирну можно подняться на Северное седло, а там... И в который раз я взглядом прошел те два с небольшим километра. Получилось несложно...

Нашел Нину в палатке. Она лежала, навалив на себя спальные мешки, и дрожала. С трудом удалось добиться объяснения, что с ней случилось. Оказывается, она гуляла вдоль речки, и вдруг ей стало казаться, что большие камни превратились в яков, а средние – в волков, мелкие стали сурками и зайцами; все ожило, замельтешило. Мой призрак появлялся то там, то там – одновременно в самых разных направлениях – и призывно махал рукой... С огромным трудом Нине удалось найти путь обратно в лагерь. Она забилась в палатку... Обычные симптомы горной болезни и кислородного голодания. Но что делать? Дальше-то будет еще тяжелей.

\* \* \*

В середине июля мы перебрались в штурмовой лагерь. Здесь уже почти нет голых камней, только снег и лед. По полдня я топлю снег на плитке. Из набитой с верхом кастрюли в итоге получается несколько плотков воды.

Я слежу за малейшими изменениями погоды, каждое утро я готов ринуться наверх. И каждое утро приносит разочарование – или буря, или снегопад, или туман, как сметана... Поневоле валяясь без дела, я рассказываю Нине о тех, кто пытался покорить Вершину в одиночку до меня.

С детства я собирал любые сведения об англичанине Морисе Уилсоне. Он не был альпинистом, никогда не увлекался спортом – с фотографической карточки на нас смотрит полный, рыхловатый человек лет сорока... Родители Уилсона были добропорядочными буржуа, отец владел фабрикой шерстяных изделий. В 1916 году Уилсон ушел добровольцем на войну, получил награду за храбрость, а после ранения в руку и грудь был демобилизован. Как и многие люди его поколения, он не смог устроиться в мирной жизни: сперва сбежал в Америку, а потом перебрался в Новую Зеландию. Продавал там автомобили, лекарства, держал магазинчик дамской одежды. В 1931 году вернулся на родину.

Он был болен туберкулезом, но, следуя учению индийских йогов, с которыми познакомился по пути из Новой Зеландии, сумел вылечиться. С тех пор Уилсон признавал лишь пост и молитву, а не лекарства.

Совершенно случайно в старой газете он прочитал статью об экспедиции на Вершину двадцать четвертого года. Узнал, что такое шерпы, яки, ледник... И решил стать первым человеком, побывавшим на высочайшей горе мира.

На имеющиеся у него деньги Уилсон купил подержанный самолет, поступил в аэроклуб. После нескольких занятий, научившись взлетать и приземляться, он отправился в Гималаи. В

штурманской кабине лежала палатка, спальный мешок и несколько банок консервов... Невежливо, но ему удалось из Англии добраться до восточных районов Индии. По пути в восемь тысяч километров его многократно грозились сбить, то и дело возникали сложности с заправкой самолета горючим, но судьба пока что к нему благоволила. Правда, перелететь в Непал не удалось. Уилсон продал самолет и, хотя и в пешем путешествии ему было отказано, в одежде буддистского паломника пробрался в Тибет. Он притворялся глухонемым и шел в основном по ночам, преодолевая за сутки не более двадцати пяти километров. Его преследовали снегопады, дожди с градом, оползни. Но в конце концов Уилсон записал в дневнике, что увидел Вершину. Это было весной 1934 года.

Оказавшись в монастыре Ронгбук, он добился аудиенции у настоятеля. Верховный лама, понимавший по-английски, выслушал Уилсона, поразились его мужеству и решимости и благословил на восхождение.

Проснувшись на следующий день, Уилсон услышал проникновенное пение монахов. «Они молятся за меня!» – тут же записал он в дневнике. Погода была прекрасной, и Уилсон начал подъем. Вскоре достиг Ронгбукского ледника, и здесь подолгу петлял в лабиринтах из ледовых башен, обходил многокилометровые трещины, скальные блоки. Но все же он двигался вперед... Затем начались ледовые поля. Уилсон не понимал, как идти по льду – у него не было даже кошек! И все-таки он достиг высоты 6035 метров (совсем неплохо для неподготовленного человека!) Тут повалил снег. Ослабевший Уилсон проглотил несколько фиников и немного хлеба.

После морозной ночи в палатке он снова пошел вверх, и через два дня на высоте 6250 метров попал в снежную бурю... Хромая, с болью в суставах, он вернулся в Ронгбук. Его глаза были обожжены, горло болело. Пока монахи готовили горячую еду, Уилсон записал неразборчивыми каракулями: «Я не сдаюсь. Я по-прежнему уверен, что сделаю это...»

Пролежав четыре дня, он стал готовиться к новой попытке. Однако его левый глаз совершенно заплыл, а левая половина лица онемела. Лечился голодом, принимал участие в буддистских церемониях... Постепенно восстановив силы, он снова отправился в путь.

На этот раз Уилсон достиг высоты 6748 метров и здесь обнаружил склад с продовольствием экспедиции, которая состоялась за год до этого. Ободренный находкой, он тут же сделал запись в дневнике: «Вершина и путь к ней теперь совершенно изучены. Пройти осталось всего 2100 метров». Но снова началась буря, которая пять дней держала Уилсона в палатке. Как только погода улучшилась, он пополз вперед.

Четыре дня метр за метром отважный одиночка приближался к Вершине. Ночевал в спальном мешке под открытым небом, задыхаясь, бил ступени, ввинчивал ледовые крючья. Наконец он стоял у подножия последнего участка над Северным седлом. Впереди была отвесная и гладкая стена... После нескольких неудачных попыток преодолеть или обогнуть стену Уилсон вернулся в палатку.

Его тело нашли годом позже; альпинисты похоронили Уилсона в трещине ледника, взяв с собой только дневник... Многие считали и считают его сумасшедшим, мне же он ближе и симпатичнее легиона тех, кто живет в уютных домиках и копит деньги на старость. Эти мудрые долгожители называют сумасшедшим любого, кто не похож на них...

Через тринадцать лет после Уилсона в Гималаях появился новый одиночка, одержимый идеей взойти на Вершину. При себе он имел спальный мешок на гусином пуху, две палатки, веревку, самодельные кошки, шлем, рукавицы, снегозащитные очки, пакетик сухого мяса и двести пятьдесят фунтов в кармане. Это был канадец Денман, несколько лет проживший в Африке. Он давно увлекался альпинизмом, но более как теоретик. Тем не менее он всерьез рассчитывал постоять на высочайшей точке планеты.

Сопровождать его согласился Тенцинг Норгей, тридцатидвухлетний шерпа, не раз уже принимавший участие в экспедициях.

Обитатели Ронгбукского монастыря откровенно смеялись над убожеством снаряжения Денмана – они привыкли видеть других горовосходителей.

Вершина, которая возвышалась над монастырем, ошеломила Денмана, он даже подумывал отказаться от своего плана, но 10 апреля 1947 года вместе с Тенцингом все же двинулся в путь.

Они пошли традиционным маршрутом в направлении Северного седла. После жизни в Африке гималайский холод до того мучил Денмана, что ему приходилось спать в одном мешке с Тенцингом. Также он страдал от недостатка кислорода – на акклиматизацию у него не было ни времени, ни средств...

Выше Северного седла подняться им не удалось – начались сильные бури. Денман признал себя побежденным и вернулся в Африку, на прощание подарив своему спутнику шлем... В пятьдесят третьем, когда Тенцинг вместе с Эдмундом Хиллари стоял на Вершине, на его голове был этот шлем. Символично...

В семьдесят пятом году Вершины достиг англичанин Берк, но он был участником большой экспедиции и прошел в одиночку лишь последние двести метров. К тому же после восхождения его больше не видели... Я же планирую совершить действительно одиночное восхождение – абсолютное соло, – поднявшись с Ронгбукского ледника, с высоты 6500 метров, и постараться вернуться живым.

\* \* \*

И вот наступило ясное, тихое утро 17 августа, когда я наконец-то смог сказать Нине: – Сегодня занесу рюкзак под Северное седло.

Торопливо, как-то слишком поспешно, Нина кивнула. Мне хочется услышать ее голос, какие-то важные слова, но она просто кивает...

После завтрака я собрал необходимое: продукты на пять дней, горючее для плитки, спальный мешок, бивачная палатка, фотоаппарат, минеральная вода... Оставляю рюкзак на пятьсот метров выше нашего лагеря и тем самым смогу сэкономить силы и время завтра, когда, по моим расчетам, я должен пройти большую часть подъема.

Подъем на Северное седло – самый сложный этап восхождения. Перепады высот составляют почти полкилометра, здесь масса трещин и велика вероятность схода лавин. Мне, одиночке, нужно думать не только о лавинной опасности, но и о том, чтобы без веревки и крючьев благополучно преодолеть трещины.

У меня нет рации, я совершенно сознательно хочу подняться без всякого контакта с внешним миром. Не говоря о том, что Нина не сможет мне чем-либо помочь, попади я в беду, я сам не хочу подвергать опасности ее жизнь из-за меня. Я добровольно иду на риск, и только в том случае, если нет никакой связи с другими людьми, никакой подстраховки, даже психологической, восхождение можно назвать по-настоящему одиночным...

За последние недели выпало чудовищное количество снега, но благодаря теплым дням и двум морозным ночам он осел и уплотнился. Фирн так тверд, что подошвы моих ботинок оставляют на нем лишь еле заметные отпечатки.

Почти пробежав около двухсот метров, постепенно сбавляю темп. Начинаю считать шаги. Сделав пятьдесят – останавливаюсь и передыхаю. Очень помогают лыжные палки – они играют роль второй пары ног.

Подножия Северного седла достигаю почти без труда. Погода прекрасная – ни одной тучи, солнце припекает, но воздух прохладен, дышать легко. Тянет – ох как тянет! – идти дальше, взобраться на седловину... Нет. Здесь самое удобное место, чтобы оставить рюкзак, а завтра утром... Да, завтра... До завтра.



Ставлю рюкзак в неглубокую ледовую нишу. Фиксирую его титановым, моей конструкции, ледорубом, сверху на ледоруб вешаю кошки...

– Я потрясена! Ты так быстро поднимался! – встречает меня Нина. – Я видела весь твой путь в бинокль. За каких-нибудь два часа!.. – И еще много-много восторженных слов.

Киваю, но почти не слышу ее. Если сейчас я начну отвечать, общаться, то наверняка сорвусь и нагрублю или, что хуже, расслаблюсь. Дойти до Северного седла – пустяк. Вот дальше... Я пью воду и забираюсь в спальный мешок.

Весь остаток дня, всю ночь я чувствую, что готов вскочить в любую секунду. Вскочить и пойти. Даже во сне я с трудом заставляю себя лежать спокойно. Я весь в нетерпении и ожидании утра, весь в наблюдении за тем, что происходит снаружи палатки.

Сквозь сон определяю, что воздух слишком теплый, почти парной. Где-то неподалеку слышатся скрипы и потрескивания, иногда – ухающие стоны оседающего снега, шелест мелких обвалов. Черт, фирн наверняка ослабнет!.. Но беспокойство не может поколебать уверенности – вот-вот я поднимусь, оденусь и совершу великий бросок... Скорей бы рассвет...

На последней перед моим отлетом в Гималаи пресс-конференции какой-то бесноватый со сбившимся набок оранжевым галстуком обрушился на меня с тирадой; его даже никто не посмел перебить или попытаться остановить, так яростно он говорил:

«Вершина была покорена в пятьдесят третьем году. С тех пор сотни людей туда лезут и лезут, многие гибнут. У тех счастливицков, что достигли, впечатления одни и те же: воздух разрежен до предела, дышать нечем, собачий холод, полная истощенность и тэ дэ и тэ пэ... Три года назад вы первым покорили Вершину без кислородного аппарата, а теперь готовитесь взойти на нее в одиночку, в самое опасное время года. Да, вы рискуете, но в чем для цивилизации реальный прок от вашего риска? Что дают ваши рекорды? Наоми Уэмура заявил, что зимнее восхождение – самое суровое испытание мужества. Но какой смысл в таком мужестве? Оно не созидательно, оно фактически бессмысленно для общества. Даже в футболе больше смысла... Допустим – допустим! – и вы, и японец реализуете свои замыслы. А дальше? Будут пытаться восходить ночью и без фонарика? Или не прямо вверх, а по спирали, вокруг горы? Да? Можно и в кандалах, босиком, с завязанными глазами. Варианты здесь бесконечны... Не больший ли героизм проявлять свое мужество как-то иначе? Например, в простейшем и одновременно сложнейшем и драгоценнейшем виде – как гражданская отвага. А? Наше человеческое общество еще слишком несовершенно, чтобы посвящать свою жизнь рискованным играм и тем более – заражать этими играми других, отвлекать их от действительно полезных занятий!»

Тогда, на пресс-конференции, я сказал этому господину со сползшим галстуком нечто безобидное, почти извиняющееся: мне, мол, просто нравится лазать по горам, это мое частное дело, мое увлечение, и внимание общества я привлекаю не специально, оно само желает следить и знать обо всех подробностях моих планов... Но сейчас, в неглубоком и лихорадочном сне, когда все мое тело подрагивает от нетерпения ринуться на штурм Вершины, когда во мне, кажется, столько энергии, что я способен осветить небоскреб, я знаю, что и как ответить тому негодующему господину... Нет, гражданину.

Представляю: сейчас он лежит, постанывая, на своей продавленной, скрипучей тахте в душной спальне; рядом, но под другим одеялом, его супруга, которая скоро встанет и начнет инстинктивно готовить завтрак, а гражданин, кряхтя, охая, растирая ладонью ноющий позвоночник, достанет из почтового ящика утреннюю газету и долго будет ее изучать, негодую на каждую новость, изливая супруге свои мысли о лучшем устройстве мира... Вечером, после работы в какой-нибудь из бесчисленных и бесполезных контор, он устроится в кабачке поближе к дому, закажет кусок запеченного мяса и большую кружку пива и завяжет ежевечерний разговор с приятелями о созидании, долге, смысле, общечеловеческой пользе...

Я чувствую особенно резкий толчок изнутри себя. Распахиваю глаза, смотрю на фосфоресцирующий циферблат часов. Почти пять. Выбираюсь из теплого, почти родного мешка. Несколько секунд бессмысленно просто смотрю на белеющее пятно рядом с моей левой рукой. Это лицо Нины... Как она уютно, размеренно дышит во сне... Вдруг вспомнилось, с какой радостью, словно щенок, она бросалась в озерцо у Ронгбукского монастыря, долго плескалась, тщательно мылась в холодной воде. Хм, все расстраивалась, что шампунь плохо очищает волосы...

Бедненькая. Сейчас я понимаю, насколько она измучилась за эти два месяца. Она – дитя цивилизации. Детство и юность провела в одном из крупнейших мегаполисов мира, а здесь, со мной, вынуждена вести почти первобытную жизнь. Во время ее прошлых путешествий в горы было, конечно, не так – их базовые лагеря напоминали современный дачный поселок, даже биотуалеты стояли... Но ничего, Нина, скоро, очень скоро твои испытания кончатся. Три, от силы четыре дня – и мы спустимся к развалинам монастыря, где зеленеет трава и поют птички, а тридцатого августа сядем в джип...

Надеваю шерстяные чулки, штаны, ботинки, свитер. Каждое мое движение верно и экономно, словно заучено сотней репетиций. Никаких поисков, шарений руками, ничего лишнего... Выхожу из палатки, выпрямляюсь, вдыхаю чуть колющий морозцем, кисловатый воздух... Вершина в предутренней густой синеве представляется мне присевшим, задремавшим исполном. Но я вот-вот потревожу его дрему.

Следом за мной тихо появляется Нина. Кажется, она не может поверить, что я все-таки ухожу.

– До встречи, – говорю ей и целую в щеку.

Она молчит, напряженно, нахмурясь вглядываясь в мое лицо, будто стараясь запомнить каждую черточку. От этого мне становится не по себе.

Беру палки, включаю налобный фонарик. Разворачиваюсь и шагаю вперед. Слегка подмерзший фирн успокаивающе хрустит под ногами. Прокручиваю в памяти, все ли взял... Неразборчивый голос сзади.

Я остановился, поморщился:

– Что?

– Я буду думать о тебе! – говорит Нина.

На какие-то мгновения замираю, повернув лицо к ней, к нашей палатке. Слабая, напоминающая нытье вдруг заболевшего зуба, начинает расшатывать мою десять минут назад стальную уверенность мысль: «А что? А если остаться? Не идти. Взять и остаться с этой женщиной...» И я словно бы наяву чувствую ее теплое, одновременно и крепкое и нежное, мягкое тело, вдыхаю запах ее волос; я глажу ее упругую, совсем молодую грудь, вожу ладонями по гладким бедрам... Я словно бы опять засыпаю...

– Пока! – резко бросаю туда, вниз, и, дернувшись, делаю шаг, другой, третий... Мне хочется побежать...

Спустя минуту уже не помню о Нине, предательская мысль растворена, уничтожена. Никаких сомнений! Все вернется через три дня. Через три дня я вернусь.

Вот в желтоватом кружочке света от фонарика появляется стена Северной седловины. Струями застывшего водопада поблескивают огромные, точно трубы, сосульки. До рюкзака остается метров сорок. Но что-то не так на этом отрезке, что-то здесь изменилось...

\* \* \*

Одновременно с уверенностью: необходимо остановиться и разобраться, проверить, что же не так, я почувствовал, как снег подо мной вдруг, будто огромная скатерть, куда-то сползает. И стремительно, и плавно.

Автоматически раскидываю руки с лыжными палками, пытаюсь зацепиться за края дыры. Напрасно – в облаке снега и ледяных кристаллов я лечу вниз. Фонарик гаснет... Ударяюсь о стены то спиной, то грудью. Из всех сил делаю себя шире, больше, но трещина расширяется. Никаких мыслей, кроме желания остановиться и пульсирующего вопроса: «Сколько уже пролетел?! Сколько метров?» От этих метров зависит моя жизнь... Но чувство глубины утрачено, как и чувство времени. Страх нет – я еще надеюсь. Надеюсь зацепиться, остановиться и вылезти...

И я остановился. Под ногами опора. Неужели дно?

Та-ак... Ощупываю фонарик, и неожиданно он загорается. Облегченный выдох. Осторожно осматриваюсь... Нет, это не дно – подо мной тонкий, припорошенный снегом пласт фирна – перемычка между стенами. Метра полтора квадратных... А за ней слева и справа чернеет бездна. В любой момент перемычка может сломаться... Вцепляюсь руками в почти гладкие стены, задираю голову, пытаюсь определить, глубоко ли я нахожусь. Метров шесть. В кусочке черного неба горят несколько звезд. Они горят ровно, без мерцания, и с каждой секундой становятся словно бы больше. Как зрачок напряженного зверя. Кажется, они вглядываются в меня, чтобы запомнить. Так же они вглядывались в Мэллори, Уилсона, Берка, в десятки тех, кто погиб и исчез на склонах Вершины... Так же вглядывалась в меня Нина, а потом сказала: «Я буду думать о тебе!» Почему-то именно «думать», а не «ждать», «встречать тебя»... Нет!..

Осторожно, стараясь тщательно укрепляться на редких и мелких выступках, я полез вверх. Ноги соскальзывали. «Кошек нет», – вспомнил я, и холодный пот моментально покрывает все тело. Я начинаю дрожать. Дрожь становится тряской... Вот тогда я испугался! Да, это серьезно... При себе у меня лишь лыжные палки и нож, все остальное, в том числе и ледоруб, кошки – в нескольких десятках шагов отсюда. Там, наверху...

Почти вишу, раскорячив ноги и руки, боясь снова всем весом опуститься на фирновый пласт. Он настолько непрочен, что поразительно, как он выдержал меня, летящего с высоты шести метров... Лучше бы уж, кажется, я провалился сразу до дна, разбился в лепешку. Ведь... Ведь что же делать? Я не сказочный человек-паук...

Но, подавив приступ отчаяния, вновь пытаюсь карабкаться. Сантиметр, еще сантиметр, передышка. Еще чуть-чуть... Правый ботинок соскальзывает с обледенелого выступа, и я сползаю на фирн. По спине обжигающим потоком льет пот... Прикрываю глаза, налаживаю дыхание, а потом поднимаю голову.

Трещина сужается кверху, поэтому у меня нет никаких шансов. Это все равно что пытаться с голыми руками вылезти из бутылки... На счастье или, скорее, на более жуткую и мучительную смерть, я невредим, но совершенно бессилен. В шести метрах от поверхности, в сорока от рюкзака, в четырехстах – от палатки, где меня ждет человек.

«Была бы рация», – выныривает мысль. Нет! Я ни в чем не раскаиваюсь – я совершенно сознательно решил на восхождение без нее... А память подсовывает сценки: вот мне предлагают рацию новейшей разработки весом в семьдесят граммов и размером с сигаретную пачку; вот уговаривают взять радиобук «на всякий случай». Но я твердо отказывался – я выбрал такую тактику, я решил идти по-настоящему один, и ради этого, только ради этого я и пошел. Без рации, без напарника, веревки, крючьев, кислородных баллонов... Вертолета, черт возьми! Один на один с горой. Абсолютное соло!..

Передохнув и подбодрив себя, снова лезу вверх. Выбиваю ножом зацепы для пальцев; ноги растянуты почти до шпагата. Лыжные палки висят на запястьях... Моя цель сейчас, главная цель в жизни, подняться метра на полтора и там попытаться укрепить палки поперек трещины. Палки у меня раздвижные, наибольшая их длина – метр семьдесят, сделаны из титана... Укрепить, как следует на них отдохнуть, и тогда подумать, что делать дальше. Ведь если трещина сужается кверху, то, логически, чем выше я поднимусь, тем у меня больше возможности выбраться...

Острие ножа долбит лед, ковыряет камень. Толку мало, очень мало, а силы иссякают стремительно. И вот я снова на фирновой перемычке... Выключаю фонарик – свет мне еще понадобится. Неизвестно, сколько я пробуду здесь. День, два, три... У меня нет при себе ни еды, ни питья. Всё в рюкзаке.

Да, досадно. Кроме всего прочего – досадно. Я опасался трещин над Северной седловиной, я просчитывал, как лучше пройти узкий гребень, взобраться по почти отвесной стене Чанг Ла до кулуара Нортон, а споткнулся в самом начале. Случайность. Ведь еще вчера трещина эта была надежно запаяна снегом и льдом... Но случайность, именно случайность погубила сотни альпинистов, тысячи и миллионы обыкновенных людей. Оступился, ударился об угол стола и умер, задумался и попал под автомобиль, сделал смелое заявление и поплатился жизнью от пули киллера, неосмотрительно шагнул вперед и рухнул в пропасть... Но в отличие от многих и многих я испытал счастье. Я не раз был счастлив! И сегодня ночью я тоже был счастлив – я был так силен, и, не останови меня эта слепая случайность, я достиг бы Вершины. Я стоял бы на ней и смотрел на мир подо мной. Огромный чудесный мир внизу. Крошечный, почти игрушечный... И на метр восемьдесят два сантиметра – на мой рост – я был бы несколько минут выше самой Вершины!

Я спохватываюсь и включаю фонарик. На часах почти семь. Значит, провалился совсем недавно – каких-нибудь пятнадцать минут назад. Если настроюсь и удачно выберусь, то вполне еще успею до наступления дня подняться на седловину... Да, надо настроиться, собраться и попытаться всерьез... Что это со мной? Что за мысли? Не раз я бывал в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Меня завалило лавиной, и я выкарабкался с двух метров. А снег был такой твердый и плотный, тяжелый, как застывающий бетон... Меня сбивало с карниза камнем величиной с футбольный мяч, и я, с сотрясением мозга, продолжал восхождение. А падений в трещины и расселины и не счесть. Я смогу!..

На этот раз досконально изучаю стены, пытаюсь найти хоть какой-то более или менее, хоть в полступни, выступ, какую-нибудь полочку, ступеньку... Ведь не шлифовали же эти стены!.. Я колю ножом камень, дроблю лед. Вверх, вверх. Постепенно, потихоньку, не думая о шести метрах, что отделяют меня от поверхности. Сейчас всё решают сантиметры. Чуть выше обязательно должны появиться опоры для рук и ног. Пока главное – сантиметры...

Самовнушение не помогло, и через несколько минут борьбы я снова оказываюсь на фирне. Присаживаюсь на корточки – теперь не боюсь, что перемычка может сломаться. Пусть ломается, пусть сбросит меня еще глубже, чтоб я потерял надежду.

Беру пригоршню крупнозернистого, сухого снега, сую в рот. Крупины медленно превращаются в капли, но жажда только растет. Жажда в высокогорье – постоянное чувство. Без питья я не выдержу и суток... От жажды можно сойти с ума... Обидно, если начнутся галлюцинации, и я превращусь в трясущееся, пугливое, безвольное существо. Нет. Нужно просто успокоиться, собраться с силами и мыслями. Всегда есть выход. Я цел и невредим. Я вижу небо и, значит – могу победить. Какие-то несчастные шесть метров – три человеческих роста!..

Мне вспоминается Уэмура. Вскоре он должен появиться здесь, чтобы осуществить (попытаться осуществить) свой план, свое зимнее восхождение. И, быть может, вполне вероятно, он пройдет где-то рядом, а то и прямо надо мной. Он пройдет надо мной, блестя своими узкими, колюченькими глазами!

Вскакиваю и снова изучаю стены. Продвигаюсь до самого края фирнового пласта в одну сторону, потом в другую, шупаю камень и лед твердыми, невосприимчивыми к холоду пальцами... Нет. Выключаю фонарик. Прикрываю глаза.

Прокручиваю в памяти каждый свой шаг от палатки до трещины. Я шел слишком уверенно, на какое-то время потерял бдительность и поплатился. Но как я мог?! Ведь всю ночь слышалось, как оседает снег. И где-то совсем рядом ухало. Наверное, как раз здесь... Нда... Еще три часа назад я лежал в спальном мешке, рядом была Нина. Всё было нормально,

надежно... Что сейчас делает Нина? Может ли она почувствовать, хоть немного, что со мной?.. Наверняка, проводив меня, легла еще поспать. И трое суток она будет смиренно ждать. Потом сутки – слегка волноваться. На подъем и спуск я запланировал максимум четверо суток. Если к этому времени не вернусь, значит, что-то случилось... Через четверо суток будет двадцать первое августа. Китайцы приедут тридцатого. Что будет с Ниной в эти десять дней и ночей? Останется здесь или спустится?.. Нет, скорее всего спустится! Иначе она умрет от истощения. Полмесяца на такой высоте ей не выдержать.

И понимаю – она не спустится. Она будет стоять и смотреть на Вершину, искать движущуюся черную точку; будет принимать каждый оголенный от снега камень за мой силуэт; она ослепнет от напряжения... Она не спустится... А китайцы сюда не поднимутся. Нас найдут в лучшем случае в сезон осенних экспедиций. Ее найдут... При первом же снегопаде или сходе лавины отверстие над моей западной закроется. И я исчезну. Как Мэллори, Берк, как мой брат, как Александр, Моррис Уилсон... Да и Нину вполне могут похоронить по-альпинистски: упадут в спальный мешок и спустят в ближайшую трещину...

– Нина, – произношу я шепотом, чтобы услышать свой голос, почувствовать, что я жив, а воображение помимо воли работает с лихорадочной быстротой...

Но, может, она почувствовала, что со мной беда, и сейчас где-то рядом – ищет мои следы. А? Ведь, может... Может, стоит подать голос, и она услышит? Вернется в лагерь, возьмет веревку... Но сумеет ли она меня удержать? Да наверняка! Мне нужна хоть какая-то, пусть самая малая опора, чтобы подтянуться на метр-другой, а там – там я найду за что уцепиться. Там наверняка есть уступы, полки, спасительные неровности.

Я смотрю вверх. Небо стало заметно светлее. Звезды горят тускло, но они видны. Они все так же следят...

– Нина! – кричу я негромко и еще не решившись до конца, стоит ли звать.

Прислушиваюсь, перестаю дышать... И кажется – там, наверху, что-то шуршит. Что-то движется.

– Нина-а! – И опять слушаю. И опять наверху движение. – Нина-а! Ни-на-а!..

Так я кричу и прислушиваюсь, кричу и прислушиваюсь много раз подряд. Я боюсь остановиться и признаться себе, что это просто отзвук моего собственного крика.

2005 г.

## ГАВРИЛОВ

Однажды, в пылу спора, Станислав Олегович Гаврилов объявил себя антинародным и, естественно, тут же получил от оппонентов ряд колкостей, почти издевательств; в итоге тот спор он проиграл именно из-за сорвавшегося с языка «антинародника», но зато в дальнейшем уже не стеснялся, не ходил вокруг да около, а сразу говорил напрямую, что презирает народ, и объяснял свою позицию так:

«Народ, простые люди – не что иное, как хищная озлобленная масса, столпившаяся под социальной и интеллектуальной лестницей. Масса эта ни за что не желает отвечать, не умеет ни работать, ни мыслить, но всегда требует самый сладкий и большой ломоть в виде достижений цивилизации. Пока этот самый народ держат в рамках, он более или менее управляем, семнадцатый же год разрушил плотины, и вот – полюбуйтесь. По улицам бродит чудовищный монстр, время от времени чуть видоизменяясь, то выпуская когти, то слегка их пряча. Но цель у него неизменна – уничтожить культурный слой общества, этот необходимый цивилизации духовный озон, и так уже, кстати, порядком поистреблённый. И эти же люди культуры вопят о своём, – на этом месте Гаврилов обычно делал паузу, морщился, – о своем народолюбии, и не хотят вспоминать, в каких формах народ отвечал на их любовь, с каким сладострастием он, как только появлялась возможность, вырезал образованных».

А затем на слушателя обрушивались цитаты. Из Бунина, Шишкова, Чехова, Вольнова, Астафьева, особенно горячо почитаемого Станиславом Олеговичем Андрея Зверева.

«Зверев сказал не так давно. Вслушайтесь! «Наш народ убил Бога в своем сердце, потому что Бог был ему, хулигану и жадной гадине, бельмом на глазу в его бесчинствах и грабежах». Разве не в самую точку?»

И те, кому говорил это Гаврилов, обычно молча кивали, крыть им было, кажется, нечем. Да и споры теперь возникали куда реже, чем в то время, когда Гаврилова так отделали за «антинародника», – во-первых, он стал разборчивей в общении, а во-вторых, авторитет его несказанно и заслуженно поднялся на небывалую высоту. Плюс к тому – кругозор. Фактами из истории, высказываниями великих людей, собственными логическими выкладками Станислав Олегович мог закрыть рот любому.

Презрение, а порой и ненависть к так называемому народу, когда его представители проявляли признаки агрессивности, сформировались у Гаврилова не только по книгам, но, в большей степени, и на базе личного опыта; особенно сильны были, конечно же, потрясения первых лет сознательной жизни.

Станислав Олегович ярко, до физического ощущения тошноты ярко запомнил этих нянечек в детском саду, грубых, крикливых тёток, ненавидящих свою работу, не стеснявшихся при детишках говорить вопиющие мерзости, обсуждать свои половые проблемы, родителей малышей, показывать друг другу жировые складки на бёдрах, новые трусы с кружевами. И дети слышали, видели это, впитывали и тоже грубели, заражались страшной и неизлечимой болезнью – оскотинением... Станислав Олегович оказался одним из немногих, кто не заразился.

Ещё одним воспоминанием от садика остался такой эпизод.

Маленький Стасик принёс в группу игрушечный подъемный кран. Родители подарили на 1 Мая... После полдника он сидел на коврикe и строил при помощи своего крана дом. Подошёл мальчик Паша, плотный, широколицый, весь в конопушках. «Дай!» – потребовал он и потянул кран к себе. Стасик не дал – ещё сам не успел наиграться. Тогда Паша толкнул Стасика, оборвал у крана верёвочку, на которой болтался крючок, а затем вдобавок и наступил, искорёжил сандалем стрелу. И нагло уставился на Стасика. Дескать: «Ну, как?» Стасик поднялся и влепил обидчику по щеке ладошкой. Тот не заплакал, а просто побагровел; отошёл.

На следующий день Пашу забирал отец, такой же плотный, широколицый, конопатый мужчина. Паша, видимо, рассказал ему про пощёчину, наверняка ещё и приврал, и Пашин отец, улучив момент, когда воспитательницы поблизости не было, схватил Стасика за шиворот, встряхнул, даже слегка приподнял и, дыша ему в лицо терпким, до слёз омерзительным (позже Гаврилов определил, что такую вонь даёт смесь водки и лука), процедил сквозь щербины в жёлтых зубах: «Если ты, щ-щенёнок, хоть одним пальцем ещё Пашку тронешь, я тебе ноги выдерну. Понял, нет?» И снова коротко, но сильно встряхнул, и Стасик почувствовал, как тёплая струйка бежит по его правой ноге, щекочет и щиплет кожу... Родителям он не рассказал – он вообще не унижался до жалоб.

Не рассказал он и о другом, страшном, можно сказать, знаковом случае, произошедшем чуть позже, когда Стасик уже ходил в школу. Было ему лет восемь-девять тогда.

Гавриловы всей семьёй – папа, мама и он, их единственный сын, – поехали летним воскресным днём на залив Волги, что находился вблизи их небольшого, но набитого заводами города. Такие события, выезд на природу, были редкостью, настоящим праздником, так как и в выходные родители Стасика обычно работали, но уже не на фабрике, а на дому...

Папа, заядлый рыболов, тут же стал готовить удочки, мама принялась выкладывать из сумок снедь на клеёнку, а Стасик отправился обследовать берег. Он обладал сильным воображением и очень быстро вжился в роль разведчика в тылу врага; он шёл осторожно, чтоб не хрустнуть веткой, даже пригибался, держа над головой пучок сорванных листьев папоротника, – маскировался... Широкая ленивая Волга представлялась ему стратегически важным проливом, а чахлый лесок вдоль берега – были джунгли. И ему, Стасику, нужно во что бы то ни стало заминировать этот пролив, взорвать вражеский пароход.

Тропинка вывела его на ярко освещённую поляну. От неожиданности Стасик замер и сощурился. Это было так необыкновенно, красиво, прямо как в сказке. Вокруг деревья, кусты, полумрак, а здесь – ослепительный свет, высокая мягкая трава с усатыми колосками, и к воде спуск очень удобный, да почти и не спуск, а сход – пологий, песчаный. Самый настоящий пляж! Вот где им надо бы остановиться, вот бы где хорошо, весело отдыхалось! Надо уговорить родителей перебраться сюда.

Но для начала Стасик решил изучить местность. Забыв о том, что он только что был разведчиком, мальчик, подпрыгивая и насвистывая песенку «Закаляйся, если хочешь быть здоров», поскакал по траве... Как он не заметил их сразу? Наверное, слишком хороша была эта поляна, чтоб обращать внимание на такое, на то, что на ней быть не должно, не имело права. И Стасик чуть не наступил на них, а увидев, тихо вскрикнул от ужаса и отвращения, и волосы зашевелились на голове.

На самом солнцепёке, на примятой траве, лежали двое. Мужчина и женщина. Совершенно голые, серокожие, какие-то рыхлые и измятые. Испятнанные, будто прыщами – раздувшимся от их крови лесным комарьём... Женщина лежала на боку, поджав под себя толстые, в фиолетовых жилках ноги, а мужчина развалился на спине, руки и ноги разбросаны – всё на виду... Со страхом и любопытством Стасик смотрел на два эти храпящие тела и чувствовал, как из глубины груди ползёт вверх горький комок тошноты... Ни одно животное (а он видел в заезжем зоопарке этой весной и тигра, и волков, и обезьян) не вызывало у него такого острого отвращения, как лежащие сейчас на полянке, залитой солнцем, бесстыдно обнажённые, покрытые, он густо, а она – реже, жёсткой щетиной, так называемые люди.

Слева от них, боковым зрением (Стасик не в силах был оторвать взгляда от тел), он заметил опустошенную бутылку водки на расстеленной газете, стаканы, куски хлеба, колбасные шкурки. А вокруг тел – раскиданная смятая одежка. Кажется, брюки, рубаха, кажется, юбка, что-то белое, с тесёмками... Неужели и он, Стасик Гаврилов, тоже может превратиться в такое?... Или его мама и папа способны вот так же, в таком же виде валяться голыми на веселой полянке и отзывать пению птиц надсадным, мокротным храпом? Нет, нет! Но их

много, подобных, он часто встречал их на улице, они сдавливали его в троллейбусе, они громко гоготали у киоска, где продавали вонючее пиво в огромных кружках; они были повсюду в их городе, а теперь вот и здесь...

Загипнотизированный, погружённый в размышления и вопросы, слишком трудные для ребёнка, Стасик не уловил, что храп мужчины прервался, и очнулся, лишь когда тот потянул тяжёлые веки к бровям.

Насколько безобразно было лицо его спящего, давно небритое, исполосованное бороздами морщин, с тёмно-красным, распухшим от пьянства носом, но теперь, с глазами... Налитые кровью, казалось, готовые лопнуть шары бессмысленно уставились на Стасика, на маленького, чистого, оторопевшего...

Секунду, другую мальчик и мужчина смотрели друг на друга; мужчина делался всё живее, он словно бы возвращался откуда-то издалека. И вот вернулся совсем, приподнял голову, увидел свою наготу, наготу скрючившейся под боком женщины, и лицо исказилось гримасой бешенства. Рыча, он стал подниматься.

Весь во власти гипноза, с трудом преодолевая оцепенение, Стасик попятился прочь. Он уговаривал себя развернуться и побежать, но не мог; обычно такие послушные, привычные к бегу ноги сейчас сделались тяжеленными, деревянными, усилий Стасика хватало лишь на то, чтобы кое-как скользить кроссовками по траве... А страшный уже встал во весь рост, тряс головой и рычал, рычал, выпутываясь из одури опьянения или, может, копя, собирая злобу на мальчика, что помешал его звериному отдыху...

Множество раз впоследствии Stanisław Олегович пытался вспомнить свои мысли, сформулировать, оформить словами ужас тех нескольких роковых секунд, когда они находились друг напротив друга: он и этот жилистый, волосатый, рычащий, – разделённые хорошим прыжком. Но слова не находились, мысли не вспоминались, да и вряд ли он был в состоянии тогда думать о чём-то.

И чудо, и чем дальше, тем твёрже в этом убеждался Stanisław Олегович, чудо, что он сумел вдруг очнуться, одним движением развернул своё тело и бросился по тропинке в ту сторону, где находились родители.

Он бежал так, что свистело в ушах, но и сквозь свист пробивались, стучали молоточками, подгоняли быстрее и быстрее топот босых каменных пяток страшного и его рык. Бессловесный, нечеловеческий... Тропинка была узкой, окружённой с обеих сторон деревьями и кустами, и несколько раз по лицу Стасика больно хлестнули ветки, так больно, что взгляд застили горячие слёзы.

Он бежал, надеясь сейчас, вот сейчас увидеть маму и папу, но оказалось, что движимый игрой в разведчики, он забрался далеко-далеко, и уже не хватало дыхания, чтоб бежать по-прежнему резво. А рычание ближе...

Под ногой Стасика хрустнуло. Разбитая бутылка, наверное. И он бы тут же забыл о ней, если б вскоре за спиной не раздался пронзительный, хриплый и в то же время тонкий до визга рёв, а ещё чуть позже – поток грязных ругательств. А топота больше не слышалось... На бегу Стасик обернулся, увидел: страшный подпрыгивал на одной ноге, другую же, задрав, держал в руке; и на подошве этой задранной расплывалось, росло ярко-красное...

И вот тогда, медленным шагом, дыша тяжело и загнанно, возвращаясь к стану родителей, уже увидев лежащую на прибрежном песочке в синем купальнике маму и папу с удочкой, Стасик подумал: «Есть мы, и есть они, а между нами – бездонная пропасть. И любая попытка построить мост над пропастью приводит к войне». Эта мысль запечатлелась, будто выжглась в мозгу мальчика, с годами обрастая подтверждениями, обоснованиями, нагляднейшими примерами из мировой истории и из текущей жизни. И именно потрясение того летнего воскресного дня на берегу Волги в конце концов сделало Stanisława Олеговича Гаврилова заметным учёным, оригинальным и смелым философом.



\* \* \*

Честно говоря, он не любил свою фамилию, как и все простые фамилии, особенно происходящие от имён. Васильев, Павлов, Сергеев. Куда звучнее, красивее, породистее такие, например, как Голицын, Дольский, Мережковский... Как завидовал Станислав своему однокласснику, простоватому, из рабочей семьи, неуклюжему троечнику Тернецкому. Как вздрагивал, когда учительница говорила: «Тернецкий!..» Ему всё казалось, что это звали его...

Не стоит утаивать, что одно время Гаврилов даже всерьёз подумывал, как бы сменить фамилию, но пошли публикации, его заметили, фамилия Гаврилов стала в обществе на слуху, и в итоге Станислав Олегович поставил в своих сомнениях точку: «Всё, останусь Гавриловым. Тем более так заметней контраст: истинно народная фамилия, но зато позиция крайне элитарная, я до мозга костей приверженец думающего сословья. Будь я Тернецким или Голицыным, все бы именно на это пеняли: понятно, у него родовая неприязнь к простому народу, обида за выведенное под корень дворянство, – а так, когда я Гаврилов, и слабое место труднее найти. Всё, решено, останусь Гавриловым».

Канва его жизни складывалась достаточно оригинально, и это не только подчёркивает необычность, особость Станислава Олеговича, но и дало ему (да и даст, естественно, в будущем) огромное преимущество перед кабинетными теоретиками.

В 1976-м, окончив школу с серебряной медалью, он поступил в местный университет на факультет философии, к которой давно имел склонность (помимо разрешённых мыслителей читал дореволюционные издания Ницше, Шопенгауэра, Бердяева). С большим энтузиазмом проучился семестр, и неожиданно для себя самого взял вдруг академический отпуск – то ли бес попутал, то ли предчувствовал, что нужен опыт этого испытания, – отправился служить в армию.

Попал он в мотострелки, в Западную группу войск, а точнее – на юг ГДР... Служба протекла без особых испытаний, если не считать, конечно, ежедневное отупление казарменной жизнью, общением с людьми в основном низшего интеллектуального уровня, отсутствием необходимого для мыслящего человека одиночества... И все же ему очень и очень повезло, что он попал в ГДР и увидел, хоть в изуродованном, осоветизированном виде, кусочек Европы. Ведь принципы, вековые устои, традиции так или иначе были общими, и даже в маленьком Вурцене, по соседству с которым располагалась их воинская часть, проецировалась вся та прежняя великая Германия, чувствовалась близость Австрии, Франции, Дании... Насколько свежее было здесь дыхание живительной западной цивилизации, нежели в их полуазиатском, полуварварском Поволжье.

И сложное чувство унижения и стыда, но и собственного превосходства испытывал Станислав Олегович, тогда гвардии рядовой Гаврилов, когда, отпущенный в увольнение, гулял по городу Вурцену в парадной форме с погонами, на которых желтели буквы «С» и «А». Он шагал, распрямив плечи, выпятив грудь со значками, слегка отмахиваясь руками, как надрессировал его и весь их взвод товарищ старший сержант, и видел хмурые лица терпеливых немцев, скрытую в их глазах враждебность. «Да, они считают нас оккупантами, – убеждался Гаврилов и тогда ещё всерьёз пугался подобных мыслей, но мысли не исчезали, а, наоборот, крепили. – Мы проникаем в Европу как оккупанты, как непобедимые орды восточных народов. Гунны, готы, татаро-монголы. Неужели и мы в их числе?»

Личный состав части словно бы отвечал на этот неприятный вопрос положительно. Будто стараясь показать немцам дикость советского солдата, сюда присылали почти сплошь уроженцев Средней Азии да таких, что часто они ни слова не понимали по-русски (хотя, скорее всего, делали вид – так было легче: не понимать); и офицеры боялись ставить их в боевые наряды, обычно доверяя лишь мытьё посуды и чистку картошки в пищеблоке, с чем, кстати, азиаты

тоже справлялись из рук вон плохо... «И зачем, зачем, – не мог понять Гаврилов, – их везут именно сюда, в сердце Европы? Пусть мы оккупанты, но оккупанты хоть с зачатками цивилизованности, а эти – спустились с гор впервые в жизни, а их в элитное по сути место дислокации советской армии, в ГДР! Неужели специально дискредитируют?!»

В редкие минуты отдыха от службы Станислав Олегович простаивал перед картой СССР, что находилась в Ленинской комнате батальона и занимала всю стену.

Карта была уникальна не только размером, но и тем, что обычно на карте СССР каждая союзная республика обозначалась особым цветом, а на этой всё государство целиком (как на политических картах мира) – бледно-розовое. И оно – Гаврилов долго, но безрезультатно отгонял крамольное сравнение – напоминало висящие в мясных отделах гастрономов схемы говяжьих туш, где пунктирами были выделены «передняя часть», «корейка», «брюшина», «задняя часть», но цвет у всей туши сохранялся одинаковый, бледно-розовый. Так же и здесь, на карте, при пристальном рассмотрении можно было увидеть пунктирчики границ, разделяющие государство на пятнадцать республик, а если уж совсем напрячь зрение, то обнаруживались границы автономий, национальных округов, краев и даже областей (их разделяли почти не приметные змейки точек).

Да, в минуты отдыха Станислав – гвардии рядовой, а затем и ефрейтор Гаврилов – занимался изучением карты. И позже, вспоминая два года армии, ему в первую очередь рисовалась эта картина. Как он стоит в застиранной, вылинявшей гимнастерке и пропахшей потом пилотке, в кирзовых сапожищах и вглядывается в растянувшееся по всей стене бледно-розовое, так похожее (непреодолимая ассоциация!) на говяжью тушу, пятно. Вот загривок – Карелия, Мурманская и Архангельская области; вот очертания передних конечностей – Кубань, Ставрополье, Кавказ с Закавказьем; вот малосъедобная брюшина – Средняя Азия и Казахстан; задние конечности – Приморье с Сахалином; окорок – Амурская область и Хабаровский край; зачем-то оставленный хвост – Камчатка; острый крестец – Чукотка; а вдоль хребтины – северных малонаселенных районов – еще и бесполезная обречь-довесок – Новосибирские острова, Северная Земля, Новая Земля, остров Врангеля...

«И зачем нам столько?! – не уставал поражаться Станислав Олегович, тогдашний бесправный военнообязанный. – Ведь две трети этой огромной туши ни на что не годны. Для чего нам, например, костистый крестец или брюшина, или вот эти, как падающие из-под хвоста капли жидкого дерьма, Курильские островки?» И именно тогда, в минуты напряженного анализа, у Станислава Олеговича родилось ставшее много позже крылатым выражение «территориальный сброс». Через несколько лет, в одной из дискуссий, он неосмотрительно употребил его, и выражение пошло кочевать по речам раннеперестроечных бунтарей, по статьям политологов и геополитиков, а об авторстве выражения никто, кажется, и не задумывался.

Впрочем, как умный и уверенный в своем огромном творческом потенциале человек, Гаврилов не особо расстраивался, что многие его идеи и афоризмы, философские дефиниции перехватывались другими, а сам он оставался в тени. Он знал – он остается в тени лишь до поры до времени. Его ослепительный выстрел обязательно будет!..

Восстановившись в университете, Станислав не только продолжил с жаром учиться, но и активно влился в общественную жизнь; публикации за подписью «С. Гаврилов» о национальном вопросе (тогда возникла какая-никакая, все же полемика по уточнению определения «советский человек»), о проблемах гегемонии пролетариата, о роли интеллигенции в государстве развитого социализма, по сегодняшним меркам достаточно робкие, в то время вызвали широкий резонанс и переполох среди партийных функционеров. С молодым, дерзким автором не раз беседовало руководство университета, а затем, когда он не захотел понять мягких предупреждений, и очень серьезные люди из «комитета»... В конце концов ему пришлось смириться, точнее, замолчать на время, сосредоточиться на науке, и, как оказалось, это пошло во благо – Гаврилов проштудировал Фейербаха, Гегеля, разобрался в марксизме и нашупал

ряд его слабых мест, по которым, когда наступит срок (а он был убежден – наступит), следует нанести сокрушительнейший удар.

После окончания университета последовала аспирантура, а через год по ее окончании Станислав Олегович получил кафедру, стал читать курс лекций введения в философию.

Естественно, перед этим возникли сложности – все-таки человек крайне неблагонадежный, – но университетская профессура и в первую очередь глубочайшее знание молодым учебным предмета перевесили, он был зачислен в штат преподавателей... Станислав Олегович расценил это как первую крупную победу в своей жизни. Перед ним приоткрылся путь реальной борьбы, борьбы не из подполья, а с университетской трибуны.

На эксперименты, сравнимые с добровольным уходом в армию, Гаврилов не отваживался, так называемых простых людей сторонился. Правда, они, эти люди, все равно то и дело возникали рядом, бывало, даже пытались укусь, унижить, залезть на шею. И они были повсюду.

Куда, к примеру, было деться от студентов «из народа», которых и принимали, и тянули все пять лет лишь затем, чтобы потом отчитаться: у нас столько-то рабочих по происхождению получили дипломы физиков, геологов, математиков! А они если и являлись на лекции, то забирались на самый верх аудиторного амфитеатра и там втихаря перекидывались в карточки, пили «Жигулевское» или, в лучшем случае, глубоко спали, положив на необремененную конспектами, зато основательно замусоленную тетрадь всклокоченную, белеющую густой перхотью головенку... Станислава Олеговича просто бесила их подчеркнутая неопрятность, вызывающая наглость, развязность. Оказавшись где-нибудь в уборной или в коридоре в непосредственной близости от таких вот представителей народа, он старался как можно скорее и дальше уйти – соседство с ними вызывало удушье и позыв к тошноте.

Он точно знал: грязные брюки и нечесанные лохмы – не признак их материальной нужды. Эти, мягко говоря, лоботрясы и хамы живут куда обеспеченней его, Станислава Гаврилова, их родители зарабатывают у своих станков в три-четыре раза больше рядовых инженеров, как его мама и папа, и квартиры таким дают в первую очередь, и на расширение жилплощади они тоже первые, а Гавриловы, например, всю жизнь промучались в двух, напоминающих норы, комнатах малогабаритной хрущевки, хотя все трое, как люди умственного труда, имели, теоретически, право на кабинет.

Да и без экспериментов хватало столкновений с этим народом. Сам их город, изначально чисто индустриальный (его и строили как город-завод), был переполнен пролетариатом, безликой, озлобленно-агрессивной массой. И часто, проскакивая торопливым шагом мимо пивных ларьков, Станислав Олегович слышал вымученно горделивое, сопровождаемое порой глухим биением в грудь: «Я – простой человек!» И тогда, именно тогда, у Гаврилова созрел очередной афоризм: «Государство, населенное сплошь «простыми» людьми, – уже не государство, а язва на теле цивилизации». Позднее афоризм этот разросся в многоярусную философскую конструкцию, которую Гаврилов создавал и оттачивал на протяжении многих и многих лет. За пример такой вот потенциальной язвы он взял родную и потому досконально изученную им изнутри и извне Россию.

Куда, куда было укрыться от «простых», если каждое лето студентов насильно собирали в строительные отряды и отправляли «поразматься на свежем воздухе» (как говаривал проректор по воспитательной работе их университета). Благо бы посылали на ключевые комсомольские стройки, вроде БАМа, а то, наоборот... Курс Гаврилова, по крайней мере, все три года запикивали в один и тот же совхоз «Победа», что затерялся посреди тамбовских лесостепей. И все три года Гаврилов с ребятами клал там коровники из серых шлаковых плит, питаясь рисом и килькой в томате. Даже картошки совхозники жалели студентам и вообще смотрели на них волчьим взглядом.

Путь на танцы и в кино был для стройотрядовцев напрочь закрыт, в селе появляться поодиночке они не рисковали; сельчане если и соглашались продать молока или овощей, то драли три цены. Жили ребята в здании школы, спали на набитых соломой, сто лет как уже изопревших тюфяках... А началась вражда с того, что в первую же неделю по приезду в «Победу» у студентов с местными произошло почти побоище.

Дело в том, что ежедневно на строительство заявлялась компания самых отпетых победовских ухарей во главе с Серегой Балтоном (послужил он матросом береговой охраны где-то в Ленинградской области, теперь разгуливал по селу в тельняшке и обтрепанных клешах, только бескозырки с лентами на голове не хватало). Ухари поначалу в тупом молчании глазели, как студенты выкладывают стены коровника, а затем начинали потихоньку, словно бы разгоняясь, всячески подкалывать их, грязно острили и сами же гоготали над своими шутками. Студенты не связывались, только быстрее работали мастерками. И однажды, наверное, обозлясь, что «городские» не реагируют на подначки, Серега Балтон демонстративно, в тот самый момент, когда Станислав зачерпывал из бадьи порцию раствора, кинул туда окурок своей беломорины. Это уж переходило все рамки, и взбешенный Гаврилов, схватив за шкирку, сбросил подонка с лесов. Высота была небольшая, метра полтора, и тот не пострадал, а снова, матерясь, цепляясь за доски клешами, полез наверх... Станислав быстро оценил ситуацию, прыгнул и приготовился к драке. И Балтон, конечно, бросился на него, бросился дуром, не прикрываясь, заботясь лишь о своем ударе. Станиславу ничего не стоило врезать ему хоть в лоб, хоть под дых, но он сдержался, он ловко заломил руку горе-матросика и внятно, раздельно спросил: «Чего тебе надо, звереныш? Мало вас газом травили, все не можете успокоиться? – И отшвырнул его прочь. – Пшел вон, скотина!»

Тут же, будто очнувшись, вся кодла ухарей кинулась на Гаврилова. Хорошо, ребята подоспели вовремя, и нескольких ударов хватило – почти все студенты были спортсменами, – чтоб победовцы отступили. С безопасного расстояния Балтон часа два безуданно орал, что сожжет их этой же ночью, что такие им газы устроит... С тех пор студенты оставляли по ночам, так сказать, часового, который менялся каждые два часа.

Никаких поджогов не происходило, но то ли кто-то из победовских нажаловался начальству, рассказал про «газы», то ли среди студентов оказался стукачок, и у Станислава возникли неприятности, ему даже вклеили выговор по комсомольской линии, а на следующий год поставили старшим бригады стройотрядовцев и вдобавок послали в тот же самый совхоз. Может, в наказание, а может, и из каких-то других соображений.

На посту преподавателя столкновения Станислава Олеговича с «простыми» как-то сами собой свелись к минимуму. И пришло для него время скрупулезного анализа и теоретических разработок.

Конечно, в полный голос в те годы (середина восьмидесятых) заговорить было еще невозможно. Гаврилов тихо-мирно читал лекции по введению в философию, подрабатывая писанием рецензий на новинки научной и художественной литературы. Кстати, в художественной литературе Станислав Олегович проницательно увидел способ пусть завуалированно, иносказательно донести свои идеи до читающей публики, и он достаточно долго и упорно пытался создать роман о задавленном простым народом интеллигенте. К сожалению, попытки эти не увенчались успехом. Страницы размышлений главного героя, примеры унижения, травли, издевательств вылетали десятками за один присест, а вот связать их сюжетом, разбавить беллетристскими приемами не получалось. В итоге Станислав Олегович убедился, что он слишком прямолинеен для художника и оставил затею с романом, впрочем, сохранив наброски, и они так пригодились ему в дальнейшем...

Нельзя сказать, что занятия в основном преподавательской деятельностью стало уж совсем мрачным и непродуктивным для него временем вынужденного бездействия. Да, ему приходилось молчать о главной проблеме, а если и выражаться, то с большой осторожностью,

и все-таки в этот период Гаврилов собирал материал для удара, копил в себе здоровую злость бойца.

А в стране тем временем начались кардинальные перемены. И одной из первых ласточек явилось опять же литературно-художественное произведение – повесть Астафьева «Печальный детектив».

Приступая к чтению, Станислав Олегович ничего особенного не ждал от этого бытописателя русской деревни, одного из десятка, и не самого даже смелого. Но повесть поразила молодого ученого и новизной темы, и откровенностью. В ней он увидел неприкрытую ненависть к быдлу и оскотинившемуся «простому народу», погрязшему в болоте пьянства и похоти.

«Вот оно! – ликовал Станислав Олегович. – Вот оно, началось!» В пятидесятилетнем потоке воспеваний и гимнов (последним смелым произведением о свинском существовании народа он считал «Мастера и Маргариту» с гениальным финалом, когда интеллигентные люди улетают пусть с Дьяволом, пусть неизвестно куда, лишь бы подальше от быдлярского ужаса), да, наконец-то вновь услышался, пока единичный, голос протеста. «И пусть, пусть пока «Печальный детектив», – думал Гаврилов, – считают лишь критикой темных сторон быта советских людей, но позже умные поймут все как надо. Как должно!»

А вскоре после первой ласточки грянуло, заварилось, заискрило от Москвы до самых окраин. Двадцать седьмой съезд партии, Первый съезд Верховного совета, межрегиональная группа, голоса о том, что Советский Союз – империя, и она обязана освободить колонии, то есть союзные республики; обозначились, хотя и расплывчато, прозрачно, коренные проблемы внутри КПСС, ставшие явными в ходе Девятнадцатой партконференции 1988 года...

Но помимо радостных, ранний этап перестройки огорчал Гаврилова событиями другими. И в первую очередь тем, что кроме интеллигенции зашевелился, и, конечно, неуклюже, грубо, как всегда по-звериному, так называемый гегемон.

На экранах телевизора замелькали вместо чистеньких, заранее подготовленных к съемкам, вызывающих некогда лишь брезгливую ухмылку презрения ткачих и доярок, комбайнеров в белых рубашках теперь совсем непереносимые, отвратительные Станиславу Олеговичу черные рожи шахтеров, измазанные в навозе, гнилозубые скотники, которые мало что выпячивали свою тощую грудь и всячески старались отравить смрадом дерьма и пота воздух интеллигентному человеку, так еще и требовали повышения зарплаты, жаловались на невнимание к их персонам секретарей обкомов, райкомов; рассуждали, каким путем нужно дальше идти стране.

Такие сюжеты (а, бывало, и часовые передачи!) доводили Гаврилова до иступления, до бешенства, и он, не в силах больше смотреть, бежал на кухню, со стоном вытряхивал дрожащими руками в рюмочку корвалол, пугая родителей.

Надо отметить – сын был для них неустанной заботой, любимцем, смыслом их жизни. И они так радовались его успехам! – окончил школу с медалью, в двадцать лет с небольшим стал университетским преподавателем, публикует статьи и рецензии. А какой вежливый и культурный! Какой у него кругозор!.. И нередко наедине друг с другом они говорили о сыне и неизменно сходились на уверенности, что он далеко, очень далеко пойдет, он свернет горы. Лишь бы выдержал, не сломался.

Сами они сломались. Их юность пришлась на годы оттепели, короткое время надежд, относительной духовной свободы, но и скорых разочарований, очередного витка безвременья, безысходности. И теперь, когда наметилась новая оттепель, они были уже далеко немолоды, обессилены, придавлены грузом забот и лишений. И осталось лишь тешить себя мыслью, что прожили они свой век пусть тихо, покорно, зато честно, с малой, но пользой... Все их надежды сфокусировались на сыне: он-то проживет как надо, принесет огромное благо родине, он обеспечит достойный культурного человека уровень бытия.

А Станислав жалел родителей. Конечно, жалел в душе, не унижая открытой жалостью; впрочем, нельзя сказать, что особенно уважал. Да, они честные, добрые люди, они никому не

принесли зла, но и не имели сил и смелости бороться, сопротивляться. Сразу после окончания вуза и вот почти до старости они сидели на своих должностях рядовых инженеров, получали рублей по сто двадцать – сто пятьдесят, когда удавалось, подрабатывали мелкими заказами. И что? Всё надеялись на лучшее, а лучшее для таких, как они, не наступает. Им на шею садятся начальники и за гроши выпивают все соки, их выпихивают из очередей откормленные домохозяйки (женушки «квалифицированных рабочих»), такие не ездят в отпуск на Черное море, у таких нет машины и дачи, такие, выйдя на пенсию, боятся пойти в собес за какой-нибудь справочкой, зная, что именно на них сорвут раздражение тамошние тетки, почтительно обслужив перед тем нескольких строптивых ветеранов труда.

«Башмачкины, Девушкины, Дяди Вани. Бедные люди, – с состраданием, но не как о равных думал Станислав Олегович и тут же сам с собой спорил: – Даже нет, не Башмачкины и Девушкины, нечто другое. Тем было нужно: одному новую шинель с меховым воротником, другому – чтоб молодая соседка не уезжала, третьего довели, он выстрелил в подлеца, а им... Получили образование, нашли друг друга тридцать пять лет назад, им выделили более-менее сносное жилье, платят мизер – и они счастливы. Да, в глубине души они счастливы, именно такие недавно на все невзгоды твердили: «Лишь бы не было войны!» Они никогда не шагнут за рамки, не взбунтуются, не отважатся перед телекамерой рассуждать о государственном устройстве, во весь голос требовать лучшего... Они жертвы, которые никто не замечает, никто никогда не учтет».

И, сжав кулаки, подрагивая от возбуждения, Станислав Олегович запирался в своей комнате и писал, писал: «Я перестану себя уважать, если не «выйду из народа», не уйду как можно дальше, поднимусь сколько возможно выше. Я сделаю это усилие, и это будет мое (он подчеркивал «мое» жирной линией) усилие.

С рождения мне приходится жить в облупленном заводском доме, я учился среди «детей рабочих», трудился на овощных базах, строил помещения для коров в то время, как крестьяне пьянствовали и били друг другу морды со скуки; я узнал на деле, что есть «народное трудолюбие», а посему никакой симпатии к народу и прочих «интеллигентских» комплексов у меня ни грана. Я вижу у народа лишь хамство, алкогольную одурь, воровство либо тривиальное, либо нравственное. И я не хочу иметь с таким народом ничего общего!»

\* \* \*

То были поистине фантастически бурные годы. Реальность менялась с калейдоскопической быстротой, узаконенные государством добродетели рушились в одночасье, зато добродетелью становилось то, что еще вчера по всем юридическим меркам подпадало под уголовную ответственность.

Журналы и газеты назывались как и прежде, как и полвека назад – «Молодой коммунист», «Ленинское пламя», «Комсомольская правда», – а в них теперь появлялись материалы, не снисшиеся и самым отчаянным диссидентам-самиздатовцам с полгода назад.

Вот журналист международник снимает фильм о русских эмигрантах и критически, порой с уничтожающей иронией комментирует крамольно-смешные (так смонтировано, что делается действительно смешно) высказывания «клеветника на родную страну» Солженицына, а через месяц-другой по первому каналу ТВ советский классик Виктор Астафьев объявляет: Солженицын – великий русский писатель, и без его «Красного колеса» мы ничего в истории нашей страны не поймем.

Вчера нам показывали бастующих английских шахтеров и кровавые столкновения в Белфасте, а сегодня точно то же самое началось и у нас... Вчера сам Генеральный секретарь заявил: узников совести в Советском Союзе нет, а сегодня выпускают из тюрьмы Леонида Бородина, возвращают из ссылки Сахарова...

Стали обратно переименовывать города. Начали с недавно умерших вождей, но вот-вот, глядишь, доберутся и до святая святых. Да и скорей бы. Скорей бы расправиться с наследием проклятого режима. Окончательно освободиться.

Фантастически бурные годы...

Станислав Олегович Гаврилов, конечно же, не имел никакого морального права оставаться в стороне. Первым делом он внес существенные поправки, точнее, вернул нецензурные ранее мысли, примеры в свои лекции, и они заблестали свежо и ярко. Он посылал в московскую и ленинградскую прессу давно назревшие, выстраданные статьи «Еще раз о гегемонии пролетариата», «Бездонная яма (Когда же мы накормим деревню?)», «Третья сторона медали (Всех ли стоит пускать к «микрофону перестройки»?)»; десятки рецензий на произведения «возвращенной» и «новой» (Гаврилов пока еще опасался употреблять «постсоветской») литературы.

Как смело он написал о «Собачем сердце» Булгакова! До каких обобщений дошел, раскрывая образ Шарикова! Грандиознейшие подтексты отыскал в поэме «Москва – Петушки», неустанно цитируя следующий отрывок: «...у моего народа – какие глаза! Они постоянно навывкате, но – никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла – но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Что бы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий, – эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...»

Вдохновляясь приведенными выше строками, Гаврилов подчистую развенчал миф о прогрессивности советского человека, и именно он ввел в литературный обиход хлесткое слово – «совок».

Но поистине всесоюзную славу Станиславу Олеговичу принесла статья «Пробуждение интеллигенции». Статья была объемиста, первоначально ее напечатали (с огромными купюрами) в трех номерах областной газеты, а затем – в столичном общественно-политическом журнале. Она включала в себя анализ и неутешительные прогнозы в связи с новым витком «самоосознания» рабочего класса и крестьянства, а также малых народов СССР; Гаврилов напомнил о последствиях «культурной революции» в Китае и диктатуры Пол Пота в Камбодже; подверг резкой критике, доказал историческую несостоятельность народовольцев и писателей-народников. Закончил он статью горячим призывом к «уникальному, немногочисленному, но необходимому для каждого истинно цивилизованного государства сословию» защитить себя и в своем лице мировую культуру от «хищных стай поистине уэллсовских морлоков, что все чаще выбираются из своих темных щелей». Большинство публики расшифровало этих «морлоков» как остатки коммунистов-фанатиков и активистов госбезопасности, и лишь немногие поняли как надо...

Кстати сказать, к народникам и народовольцам у Гаврилова были особые счеты. Как сильно он ни презирал «простой народ», но опростившиеся интеллигенты были ему поистине ненавистны. Те, простые, по крайней мере, родились такими дрессированными шимпанзе, а эти записывались в шимпанзе по собственной воле, отрекались от своей великой миссии сохранения и развития цивилизации. О них Станислав Олегович написал отдельную статью – «Добровольно встав на четвереньки...».

Активная деятельность молодого ученого, естественно, не была не замечена, в особенности демократической общественностью. Одни захлебывались от негодования, другие называли его глашатаем своих идеалов. О статьях Гаврилова дискутировали, порой на очень повышенных тонах; в растиражированных «Советской Россией» письмах за подписями механиков, сталеваров, слесарей-сборщиков, «тружеников села» его малограмотно называли классовым шовинистом; его два раза избili в подъезде какие-то дурно пахнувшие личности с шершавыми кулаками... И все же итог напряженной работы был радостный – к началу нового учеб-

ного года (в 1991-м) его пригласили в только что открывшийся в Москве Свободный университет на кафедру философии. Он без колебаний дал на это согласие.

Правда, Станислава Олеговича неприятно удивило, как легко отпустили его из родного вуза, – предложения остаться были неприкрыто формальными, для соблюдения приличия. «Впрочем, – успокоил себя Гаврилов, – они понимают, что я давно перерос провинцию. Мне необходим простор, чтоб как следует развернуться».

Москва поразила его. Действительно, сколько возможностей! Сколько, пусть пока и зачаточных, признаков западной, по-настоящему прогрессивной, цивилизации! Какая свобода выбора! Насколько меньше здесь этих пресловутых простых людей!.. Он даже слегка жалел, что не перебрался в столицу раньше. Но, по своему обыкновению, тут же утешился логическим объяснением: «Я должен был выстрадать эту перемену, должен был накопить жизненный опыт, собрать интеллектуальную базу, чтобы сокрушить врага наповал».

Первые три года в Москве отложились в памяти как пестрый фонтан событий. Буквально через полторы недели после его приезда произошел исторический путч, завершившийся окончательной гибелью ненавистного всем здравомыслящим людям коммунистического режима, и Станислав Олегович трое суток не отрывался от телевизора, сквозь балет и классическую музыку пытаясь объективно определить суть происходящего, а затем, выйдя на улицу, бурно праздновал победу демократических сил...

Он сделал ремонт в маленькой однокомнатной квартире на Беговой улице, которую приобрел для него Свободный университет; перевез от родителей часть библиотеки, свой архив, любимую настольную лампу.

Вскоре после запрещения КПСС университету отдали бывшее партийное здание – роскошный особняк в Краснопресненском районе. Это позволило существенно повысить число студентов, увеличить зарплату преподавателям, ведь этот вуз изначально был создан для обучения на коммерческой основе.

Под конец того же девяносто первого года случилось и еще одно знаменательное для Гаврилова событие – его пригласили прочитать курс лекций в университете города Беркли, штат Калифорния.

Он подготовил материал на двенадцать академических часов по своей коренной теме «Интеллигенция и низовой слой», взял в своем университете (там поездке его не препятствовали) двухнедельный отпуск и улетел в Соединенные Штаты.

В напряженном графике Станислав Олегович выкроил время, чтобы побывать в легендарном Сан-Франциско, Окленде и даже один уик-энд провел в ослепительном Лос-Анджелесе, и вынес из этой поездки восхищение Америкой, как главным оплотом и надежной опорой западной цивилизации. И еще один факт не мог не порадовать Гаврилова – насколько ловко американцы прячут своих низовых, а если спрятать не удастся – романтизируют.

«Какие в первую очередь приходят ассоциации при слове «ковбой»? – спрашивал себя Станислав Олегович, и сам же себе отвечал: – Лихой парень на горячем мустанге, шляпа, лассо, блестящие кольты на боках. А в действительности – зачуханный, вонючий пастух. Ковбои романтизировали, других же подобных попросту не замечают. Всяких сантехников, ткачих, сталеваров, комбайнеров. Хе-хе, вот кто может похвастаться, что видел американского комбайнера? Нет таких? То-то!»

Две недели в Соединенных Штатах несказанно обогатили молодого ученого. Он воочию убедился, что на свете может быть по-настоящему умное, сильное, трезвое государство, и позже об увиденном и осмысленном он из года в год ведал студентам московского Свободного университета.

В марте девяносто второго, как раз в возрасте Иисуса Христа, Гаврилов встретил женщину своей жизни, Алену, музыковеда и пианистку, и вскоре они поженились. В ожидании первенца удалось поменять однокомнатку на трехкомнатную квартиру, конечно, с существен-



нейшей доплатой. Помогли материально и университет, и родители Гаврилова и Алены, но, в большей степени, личная самоорганизация и воля Станислава Олеговича – он поставил перед собой задачу: жена с сынишкой из роддома должны войти в новый, просторный дом, и блестяще эту задачу выполнил. И вообще, целеустремленность Гаврилова поражала его самого. Он удивительно последовательно выстраивал свою судьбу, он сравнивал себя с архитектором, а судьбу – со зданием. Детство, отрочество, юность, служба в армии, студенческие годы – надежный, непоколебимый фундамент; преподавание в родном университете – первая капитальная стена; переезд в Москву и американские впечатления – вторая стена. Теперь идет внутренняя отделка, а затем, он знал, придет время возводить кровлю.

В преддверии этого Станислав Олегович решил поэкспериментировать с алкоголем. Ему не повредит, – уверял он жену перед началом эксперимента, – наоборот, несказанно расширит сознание. И даже если кто-то подумает, что это некоторая слабость, шаг назад, то пусть они, эти «подумавшие», добьются того, чего добился он, Станислав Олегович Гаврилов, к своим тридцати пяти. Доцент (да, доцент, но он не хочет получать пошловатое звание «профессор», он останется доцентом!) Свободного университета, известный далеко за рубежом философ, политолог, культуролог, критик, активнейший борец с агрессивной массой – «простым» народом; у него своя трехкомнатная квартира в престижном районе столицы России, «Жигули» девятой модели, красавица жена, сын Александр, а скоро будет, по всем прогнозам, и дочь; его новые статьи с нетерпением ожидают все ведущие газеты и журналы (с десятков оппозиционных ему, Станислав Олегович, естественно, в расчет не брал); он был удостоен чести прочитать курс лекций в престижном университете города Беркли, штат Калифорния, его цитируют ученые-социологи с мировым именем... Да, он, Станислав Олегович Гаврилов, добился поразительно многого и добьется вне всяких сомнений еще большего. Просто сейчас необходим период самоуглубленности, расширение сознания для очередного рывка вперед.

Прежде чем приступить к эксперименту с алкоголем, он досконально просчитал, сколько будет тот продолжаться. В итоге пришел к выводу, что идеальный срок – пять лет. Через пять лет ему исполнится тридцать девять, и придет пора готовиться к вхождению в зрелость, строительству кровли у здания своей судьбы. Год перед сорокалетием отводился на отдых от эксперимента... Продумал Станислав Олегович и то, как он будет пить, какое количество алкоголя в сутки, даже что именно и в какой последовательности.

В общем, к эксперименту он подошел со свойственной ему обстоятельностью и серьезностью.

Питие в традиционном для российского большинства виде было Гаврилову чуждо с самого раннего детства. Беседка во дворе их заводского дома, где по вечерам собиралась молодежь с бутылками водки или портвейна, чтобы, напившись за полчаса, перебивавшись, под конец разбить кому-нибудь рожу, навсегда осталась для Станислава Олеговича этаким визитной карточкой потребления алкоголя низовым слоем.

Насмотрелся он предостаточно мерзостей отдыха рабочего класса после трудовой недели; наслушался разговоров про футбол заплетающимся языком, визгов пьяных в дым самок, которых били такие же пьяные самцы. Даже и более-менее пристойных застолий с неременной, конечно, выпивкой и закуской, танцами под радиолу или пение вразнобой «Ой мороз, мороз...» Станислав Олегович не одобрял. Всех этих пролетарских и коллективных радостей последовательно сторонился. Он безошибочно считал, что большинство людей от алкоголя тупеют, и наблюдать сей процесс было ему печально. Причем коллективность действия, по его мнению, только ускоряла процесс и усугубляла последствия. Народное поверье о том, что пить в одиночку – последнее дело и прямой путь к алкоголизму, он считал не чем иным, как страхом объединенных круговой порукой скотов, которые боятся: вдруг кто-то из них разорвет круг и станет человеком, то есть – существом, несущим индивидуальную ответственность за свои дела.

Пить Гаврилов решил по возможности наедине или, в крайнем случае, с милой какой-нибудь девушкой. Девушку чаще всего изображала его жена Алена. (Да, по паспорту она была Аленой, но Станиславу Олеговичу не нравилось это имя, и он приучил себя, саму жену, ее и своих родителей, сына, знакомых звать Алену Еленой – так благороднее.)

Классически – если под этим словом подразумевать точное исполнение намеченного перед началом эксперимента плана – процесс питья был таков.

Просыпался Гаврилов в собственной постели в десять-одиннадцать часов утра после семи-, восьмичасового непрерывного, глубокого сна. Он не испытывал ни малейших признаков похмелья, хотя выпил накануне около литра водки, так как пил понемногу весь день и притом исключительно качественный продукт.

Проснувшись, тут же подстегивал мозги первой сотней граммов чистой энергии, принимал душ, приводил себя в идеальный порядок, подбирал замысловатой формы бородку, собирал портфель и шел на работу. (Во дворе, в гараже-ракушке, стояли «Жигули», но от них на время эксперимента пришлось отказаться.) По пути он заворачивал в три заранее намеченных бара. В двух выпивал по рюмке водки или джина под сигарету, а в третьем, уже в непосредственной близости к университету, с большим удовольствием просиживал четверть часа за кружкой пива и наблюдал окружающую жизнь, а также непрерывно и усиленно работал головой – планировал предстоящую лекцию, записывал на чем попало приходящие на ум нетривиальные мысли.

Войдя в кабинет, Гаврилов делал себе кофе или чай, плескал в чашку на треть водки или коньяку, а затем вразвалку (недруги утверждали – шатаясь) направлялся к студентам.

С коллегами у Станислава Олеговича отношения сложились не более чем деловые. Он не допускал к себе ни фамильярности, ни двусмысленных шуток, но и, почувствовав, что человек слишком холоден с ним, добивался объяснения, и чаще всего восстанавливал нормальный деловой контакт. Но вскоре после начала эксперимента Гаврилов заметил, что почти весь преподавательский корпус стал проявлять к нему настороженность и чего-то словно бы ожидать.

«Чего они ждут? – пытался угадать Станислав Олегович. – Наверняка чего-нибудь стереотипного: чтобы я в морду кому-нибудь дал, уснул на коллоквиуме, попал в вытрезвитель. Интеллектуальной деградации, в общем, ждут, тем паче во всех популярных санпросветовских брошюрах так написано. Нет, господа, не дождетесь, Гаврилов пьет не как все!»

Этот общественный ажиотаж все-таки крайне его раздражал, и он постепенно начал с ним слегка поигрывать, – совершать вполне умеренное, но отвечающее ожиданиям. Например, однажды устроил шумную выволочку лаборантке за беспорядок в учебной документации и добился ее увольнения; ввел более строгие условия приема экзаменов и зачетов – теперь студент должен был не только знать, кто такой Сократ и что значит «теология», но и обрисовать теорию Гаврилова «интеллигенция и низовой слой»; во время летней сессии наотрез отказался принимать зачет у одного строптивого умника, несмотря на просьбы декана, и это привело к большому переполоху, так как родители студента через суд потребовали вернуть полторы тысячи долларов, вложенных в обучение сына. Как-то Гаврилов более трех часов спорил с преподавателем истории России XX века о том, что любая иномарка лучше любого отечественного автомобиля в принципе. Станислав Олегович отстаивал достоинства иномарок; спор его всерьез распалил – вернувшись домой, он открыл гараж-ракушку и раскурочил свои «Жигули» ломиком для колки льда...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.